

КНЯЗЬ МЫШКИН

Мышкин рассказывает сестрам Епанчиным «про одного человека: «Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. <...> Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. <...> Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними... Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжеле, как непрерывная мысль: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!»

Александра Епанчина спрашивает князя: «Ну, что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую минуту «счетом»? — О нет, он мне сам говорил,— я его уже про это спрашивал,— вовсе не так жил и много-много минут потерял».

Я думаю, лучи, сверкавшие на эшафоте, были не чисто внешними. Наши нервные центры, воспринимающие свет, способны воспринимать как свет и что-то другое, изнутри. Иногда этот внутренний свет, вспыхнув, совершенно гасит внешний (так бывает в полутьме, когда внешний слабо давит на нервы и его легко оттеснить). Иногда же внутренний свет, при блеске солнечных лучей, присоединяется

к сверканию капель на ветках, смоченных дождем, или, как у Достоевского, к сверканию позолоченного шпиля — и превращает это обычное зрелище в чудотворную икону. Преображение Достоевского было неполным (иначе оно совершенно захватило бы его и уже не оставило бы в этот миг места для «тяжелых мыслей»); скорее даже намеком, проблеском чуда. Но проблеск был. Потом он отодвинулся в глубину памяти; инерция жизни, казавшаяся прерванной в последние минуты, потащила дальше; опять пошло обычное раздражение, ненависть, сострадание, порывы добра, радость и муки творчества, усталость, отупение...

И все-таки воспоминание, оставшееся на дне души, не умерло и жило какой-то тихой скрытой жизнью, и в какие-то мгновения эта жизнь вдруг становилась явной, и все существо тогда отшатывалось от обычного и рвалось к свету. Может быть, это воспоминание сливалось у Достоевского с другим, от переживания света во время эпилептических припадков (оба описаны в романе). Озарение эпилептика, несомненно, связано с его болезнью, патологично, но — по крайней мере у Достоевского и его героев — не только патологично. Впрочем, эпилепсия вообще очень странная болезнь. Один мой корреспондент (Я. Ю. Куик) писал: «У теософов есть теория (или знание), что эпилепсия дает человеку духовность. Это соответствует моим личным наблюдениям и жизни Достоевского».

Эпилепсия, по-видимому, одна из болезней, истончающих плоть и дающих чему-то высунуться сквозь нее. Но чему именно? У Мышкина — Богу. У Смердякова — дьяволу. Болезнь у обоих одна, та же самая, что у Достоевского.

Где-то глубоко, возле самого дна, жил в Достоевском темный грешник. Без этого собственного подполья нельзя было нарисовать то, что он рисует. Я убежден, что Достоевский не растлевал физически девочку, о которой говорится в исповеди Ставрогина, но в помышлении, в ночных кошмарах, он и это знал.

Луч света со шпиля церкви, пробираясь вглубь, осветил пласты, которые в обычном человеческом состоянии не сознаются, и все бесы, прячущиеся в подсознании, вылезли наружу и мучили Достоевского, как св. Антония в гробнице. По-видимому, на пути к святости почти необходимо пробиться сквозь слой бесов, побороться с ними, еще здесь, на земле, пройти через ад.

Автор «Идиота» был одержим всеми видами «похотей»

(или агрессии, как сейчас говорят). И сексуальной агрессией (мерзость которой он сознавал), и ксенофобией (мерзость которой он оправдывал народностью и которой охотно предавался, да простит ему Бог!), и всякими другими. «Человек — деспот по природе и любит быть мучителем»... Свобода его духа расковывала бесов, и он не в силах был справиться с ними. Но и подчиниться им Достоевский не мог. Бушеванье бесов вызывало в нем — как второе дыханье — ангелов, и ангел укрощал бесов.

Может быть, это совсем не заслуга, может быть, и заслуга (Достоевский выжил, вымолил это), но в хороводы его бесов всегда врывается луч с неба. Я не люблю слова «гений», но если оно имеет смысл (как сверхъестественная одаренность, в отличие от таланта), то здесь этот смысл — к месту. Бесы могут вертеть талантом, но над гением они не властны. В конце концов гений вскакивает верхом на беса. Десятки раз кажется, что бес им совершенно овладел, и действительно, они то и дело меняются местами — то один, то другой берет верх. Но в конце концов гений оказывается верхом на бесе. И гений вырывается из ада, из тьмы внешней, к свету. Не умом — гением. Изнутри беса. Кстати, слова «гений — демон — бес» в первоначальных своих значениях довольно близки. Это одна стихия.

Гений приходит к свету так, как только он может прийти. Неповторимо. Надо принять его, как этот мир, в целом, или в целом отвергнуть.

Гений Достоевского вообще — чудо. Чудо света из тьмы, чудо целого, созданного из ничего, из каких-то бессвязных обрывков. Но Мышкин — двойное чудо. В нем Свет стал Словом, плотью. Если можно говорить «гений», то почему нельзя сказать «чудо»? И то и другое превосходит разум, недоказуемо, требует веры. Чудо даже как-то точнее. Оно нравственно окрашено, а гений, волшебник, колдун — все это может быть злым. Мышкин не волшебство — это чудо.

Читая «Идиота», все время с трепетом и болью ждешь: когда оно кончится? Нельзя ведь каждый день воскрешать Лазаря... Вот сейчас... не может не оборваться. Не могут не разорвать...

Еще рано. Еще не свершились сроки. Еще не время «пучкам благодатным» сойтись в «наполненный музыкой

дом»¹. И все-таки последние главы нестерпимо больно читать. Знаешь, что иначе нельзя, и все-таки больно взять в руки книгу.

Мышкин — чудо, но он порожден не только одним Святым Духом, свыше. Он еще выношен снизу, тоской русского грешника по святости. Больше других — Настасьей Филипповной. Можно сказать, что Мышкин родился из ее лона, из ее жажды чистого прикосновения, острой, как жажда путника, неделю не видавшего воды. Это, впрочем, так — и в то же время не так. Настасья Филипповна только острее чувствует общее душевное растрепанье, общую, не одну женскую тоску. И поэтому вокруг Настасьи Филипповны — хор душ (по плоти — большей частью мужских), жаждущих вместе с нею. И за ними — жажда самого Достоевского. Если бы Достоевский написал «На дне», он заставил бы Барона вместе с Настей плакать о ее Рауле...

Все герои Достоевского, «которые на благородной дороге стоят» (т. е. кроме Лужиных), вместе вынашивают Мышкина. Даже Смердяков участвует «в общем деле». И Смердяков в предсмертной тоске читает поучения св. Исаака Сирина (молившегося за бесов — стало быть, и за него, Смердякова, молившегося). И Смердяков жаждет человека, который его, Смердякова, не обделит своей любовью. Тоска героев, обреченных аду, — может быть, один из самых важных элементов, помогающих вынашиванию святого плода. С этой точки зрения совсем не странность, что один и тот же мастер создал Мышкина и Смердякова. Наоборот, было бы очень странно, если бы Мышкина изобразил В. Г. Короленко. Человек, не знавший ада, удовлетворится умеренным светом; он не прорвется, изглоданный тоской, к знанию глубин, в которых одновременно схватывается рай и ад. Что-то подобное знали аскеты, приходившие к святости через постоянное «умное» сжигание себя в адском пламени. Младенчески светлый дух не знает ада; но он, собственно, и рай знает по отблескам, по игре света на листьях. Его рай — земной рай: «Только святость, выдержавшая пламя ада, обожженная в нем, может переступить через небесный порог и не сгореть, и не ослепнуть, и жить в свете. Только Соня, жившая в аду, могла сказать Раскольникову, что «Бог все дает», что ад мельче любви.

Мелькает мысль, что рай и ад как-то очень тесно свя-

¹ Из стихотворения О. Мандельштама «Может быть, это точка безумия...».

заны, они, может быть, совсем не разделены (как в схоластически стройном посмертии Данте). Различие их, может быть, целиком от устройства нашего «эвклидовского» ума, приспособленного к вещам «эвклидовского» мира, внешнего, а не внутреннего. Внутри же одно: пламя. Души, жаждущие Бога, устремляются к его белому накалу и в нем блаженно сгорают¹, а другие, жаждущие самосохранения, сбиваются поодаль, во «тьме внешней», где дым и копоть, и мучаются оттого, что праведным радость.

О Дух сжигающий! Когда наступит тишь,
Душа в Твоих лучах заплещется, сгорая...
Неотвратим, как смерть, Ты смерть испепелишь.
Одним Ты адский огонь, другим — Ты солнце рая.

(З. Миркина)

Не знаю, в самом деле все это так или так снится. Но мне хотелось бы такой вечности, а не бердяевской, со стоптанной туфлей на ноге и мурлыкающим котом у ног (почти как в свидригайловской маленькой комнате, вроде деревенской бани)...

Я верю, что есть пламя Бога и что оно поддерживается личностью, готовой сгореть в нем. И что каждый грешный человек может уподобиться в этом самому Богу, воплотившемуся в человеке.

Сильно развитая личность — это сам Бог. Это то, ради чего, может, и создан мир; в которой весь его смысл и наш смысл — если мы не только для себя, если мы для нее, для семечка ее в нас.

Сильно развитая личность сама идет навстречу огню, сгорая от любви. Она всегда «готова отдать себя всю всем», и первое существо, напоминающее ей страдания Бога, становится алтарем, на котором она без всяких метафор — как Авраам Исаака — приносит себя в жертву. И ангел не всегда останавливает ее руку.

В романе «Идиот» на этом полюсе — Мышкин. А на другом полюсе — такое же сильное желание завладеть образом и подобием Божиим. Столкновение Мышкина и Рогожина из-за Настасьи Филипповны полно бесконечных

¹ Или тонут в пучине божественного света, как выразился св. Бонавентура. Нечто подобное мне снилось: огромное озеро света, в котором плывешь, плывешь, пока не забываешь себя совсем.

оттенков смысла, от самых простых, сексуальных, до богословских. Отношение к Богу может быть таким же ревнивым, староверческим, как у Рогожина, а любовь к женщине — такой же совершенной, как к Богу, до того, что она становится его образом, и прикосновение к ней — прикосновением к вечности. Мне кажется, что отношение Версилова и Шатова к России тоже можно представить себе по образу и подобию мышкинской и рогожинской любви.

Одна любовь — широкая, все включающая, а другая — узкая, все исключаящая. В одной национальная личность существует для вселенной, для всеобщего примирения и синтеза; в другой — вселенная существует для утверждения национальной личности, не для других, а над другими...

Здесь мне хочется отметить одну ошибку, сделанную Достоевским в обрисовке Мышкина. Это очень дерзко звучит (сам ведь говорил, что исправить Достоевского невозможно). Но я не по-своему исправить хочу, а только отметить, как постепенно исправлял свою ошибку Достоевский.

Мышкин, конечно, славянофил, хотя бы потому, что не западник. Он Западом отравлен, хочет бежать от него, и куда, если не в Россию? Рильке, Гамсун тоже совершили это паломничество. А ему и сам Бог велел: Россия — родина, окутанная туманными воспоминаниями детства, неведомая и загадочная.

Тут и

Для берегов чужбины дальней
Ты покидала край родной...

и

Для берегов отчизны дальней
Ты покидала край чужой...¹

Романтик, бегущий с Запада, как Чайльд-Гарольд, временно оказывается патриотом, возвращающимся на забытую родину, негром, нашедшим свой негритюд². И самым естественным образом выходит почвенник; Мышкин, беглец из Европы, не мог не стать славянофилом. Но славянофильство имеет множество оттенков, и надо было найти мышкинский оттенок, то есть самый прозрачный, бескорыстный, открытый. И вот этого оттенка Достоевский не

¹ Две редакции одного стихотворения Пушкина.

² Теория, разработанная Л. С. Сенгором, бывшим президентом Сенегала.

нашел. То есть не сразу нашел, не нашел в то время, когда писал роман «Идиот».

В той самой сцене, когда Мышкин разбивает дорожную вазу, он говорит, «засверкав глазами»: «Католичество — всё равно что вера нехристианская! <...> это во-первых, а во-вторых, католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение! Да! таково мое мнение! Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас!»

Интонация здесь стилизована под Мышкина, а все же я не узнаю его. Мышкин не может быть не прозрачным, Мышкин, принимающий в свою душу Лебедева и Келлера, не может начисто отвергнуть крупнейшую из христианских церквей, с тяжелой, грешной, но все же великой историей и со множеством святых. Мышкин не может проповедовать, как Достоевский, с пеной на губах, что католицизм — это атеизм. Мышкин не может никого ударить, как же здесь он становится журнальным полемистом? Мышкин, идущий мимо всех формальных убеждений, вероисповеданий, прямо к «глубокому сердцу»; Мышкин, узнающий веяние Святого Духа в зеленой ветке, — этот Мышкин не мог этого сказать. Для настоящего Мышкина нет другого, чужого — как же католический мир стал для Мышкина абсолютно чужим, сартровским «недопустимым скандалом»? Нет, Достоевский спутал свои ипостаси и навязал Мышкину то, что должен был сказать другими устами. И сказал действительно, в «Бесах», почти слово в слово:

«Вы веровали (напоминает Шатов Ставрогину. — Г. П.), что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала».

Некая истина, некое сознание грехов исторической церкви высказано здесь, но односторонне и потому ложно, высказано по адресу одного римского католичества, совершенно обходя православие (примерно так, как все христиане бранят манихейство, не замечая манихейского деления

на догму и ересь в своем собственном доме, не замечая, что манихейство только резче других выразило общую черту средиземноморской культуры, общую тенденцию, заложенную в самой логике средиземноморской мысли, в законе исключенного третьего¹).

Католицизм превращен Достоевским в такого же козла отпущения за грехи всего христианства, как инородцы — за грехи России. Этот голос в Достоевском жил, и он должен был вырваться. Но не устами бы князя.

Мышкину скорее бы впору любовь к России, доставшаяся на долю Версилова, — когда начала уже вызревать Пушкинская речь, когда бесы, на пороге старости, начали отпускать душу Достоевского на покаяние: «...ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей. И кто бы мог понять тогда такую мысль во всем мире: я скитался один. <...> И это потому, мой мальчик, что один я, как русский, был тогда в Европе *единственным европейцем*. Я не про себя говорю — я про всю русскую мысль говорю. <...>

Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно тогда лишь, когда он наиболее европеец».

Я писал в «Строении глубин» (и в «Заметках о внутреннем строе»), что все написанные романы Достоевского — осколки одного ненаписанного (оставшегося тайной и только условно сопоставимого с замыслом «Жития великого грешника»). То, что было не дописано в одном романе, дописывалось в другом. И то, что было спутано в одном, в другом исправлялось. Например, слова Алеши Карамазова «Расстрелять!» — поправка к одностороннему изображению «наших» (одним этим словом дана возможность присутствия Алеши среди бесов — возможность Алеши, одержимого бесами, ангела, одержимого бесами...). Другая такая поправка — Версиров. Поправка ко всему, написанному в 1867—1873 годах. Может быть, под влиянием встречи с книгой Данилевского «Россия и Европа», такой же неприятной Достоевскому, как Ставрогину — встреча со своими идеями в устах ученика Шатова, но поправка была сделана.

¹ Индийские логики третьего не исключают. Истина для них противоположна не лжи, а меньшей истине; при таком мышлении дуализм не надо анафематствовать: он невозможен.

С этой поправкой я принимаю мышкинскую веру в Россию. Я говорю: есть две любви к России. Одна — рогожинская (ставрогинская, шатовская), другая — мышкинская-версиловская. Вторую Достоевский связал с Пушкиным и его всемирной отзывчивостью. Первую можно связать с Аввакумом, с его готовностью умереть, только бы не переменить обычая, не отказываться от своего (ставшего своим, собственным, хотя когда-то втеснено было силой)¹. От мышкинской любви расширяется сердце, и не остается в нем никакой ненависти. От рогожинской сердце сужается, и ревность убивает то, что любит, запирает в терему и душит.

В Мышкине, анафематствующем католичество, гений упал под ноги своему бесу, и бес скачет верхом на гении... И бес устами Мышкина вопит голосом Ставрогина.

Этот несчастный случай позволяет еще раз указать на одну из тайн Достоевского, на внутреннюю связь пяти великих романов. Ни один из них не может быть понят сам по себе, но только в переключке, в диалоге. В этой переключке выстраиваются какие-то новые отношения, новые притяжения и отталкивания, может быть, не менее существенные, чем сюжетно выявленные. Например, Ставрогин — такой же важный антипод Мышкина, как Рогожин, даже, может быть, еще более важный².

Рогожин противостоит Мышкину в московском пласте русской жизни, примерно как царь Иван Васильевич — своему сыну Федору Ивановичу. Они — противоположности, но на одной плоскости, в одном ряду (Мышкин и Рогожин — крестовые братья). Если спросить, кто из них более русский, то, конечно, Рогожин (Мышкин в этом противопоставлении обнаруживает свою затронутость Западом, светлой стороной западной и петербургско-русской культуры. Рогожин даже Пушкина не читал). А Ставрогин — петербургский с ног до головы, по отношению к нему Мышкин — московский (с оттенком позднемосковского, оппозиционного Петербургу, славянофильства). Ставрогин Россию постулирует и то утверждает (с Шатовым), то отрицает (с Верховенским), но оба раза несколько

¹ См. «Сны земли» (Париж, 1985), ч. 4, «Медный Всадник».

² В черновиках князь сперва напоминает Ставрогина. Только постепенно Мышкин становится Мышкиным.

свысока, как интересный парадокс, без боли; Мышкин болен Россией. Он приезжает из Швейцарии — Ставрогин в Швейцарию хочет уехать. Между ним и Мышкиным постоянная переключка, постоянное внутреннее сравнение. Иногда мнимое сходство и за ним сразу — пропасть.

Темный герой «Бесов» (как и светлый герой «Идиота») окружен ореолом влюбленных женщин. Быть может, этот ореол женской любви, помимо своего буквального смысла, означает еще возможность всепрощающей любви, со всех сторон окружившей великого грешника. Внешне это похоже на ореол святости, но суть другая. «Антисияние» подчеркивает неспособность Ставрогина к любви, неспособность не только вспыхнуть первому, но хоть ответить на любовь. Это совершенное ничтожество в главном, среди множества даров, которыми блещет Ставрогин, поразительно до таинственного «прикосновения мирам иным», до мысли об антихристе. Ставрогин клеймит антихриста в другом (в католицизме), может быть, именно потому, что чувствует его в себе. Человек часто ненавидит в другом то, что в самом себе не может побороть, что он внутренне хорошо знает. Говорят, что «крайности сходятся». Они иногда, может быть, и не расходились, на последней глубине. Ненавистник деспотизма где-то в глубине души не победил соблазна власти; ненавистник догматизма где-то сам догматик; скажи мне, что ты ненавидишь, и я скажу, какой порок дремлет в тебе. Ненависть Ставрогина к антихристу — от антихриста, и ненависть его к Западу — от Запада. Он русский барин, но барин вестернизированный. Он мог бы (с некоторыми поправками) даже родиться на Западе и называться Андре Бретоном или войти персонажем в «Сладкую жизнь»... Он в себе самом познал, что обличает. А в Мышкине ненависти неоткуда взяться. В ком нет порока, нет и ненависти. Самая благородная, самая святая ненависть начинается там, где кончается способность любить. Но в Мышкине она нигде не кончится...

Герои Достоевского разбрелись сейчас по разным континентам. Рогожины где-то в Африке. Или, может быть, в негритянском гетто Америки. Раскольниковы лежат на тротуарах Калькутты, подостлав под себя газету, или в лагере беженцев возле Бейрута, под дырявым тентом, — и думают... А потом, подумав, прячут под мышкой автомат и идут убивать свою старушку, свою идею, свой принцип (сейчас больше деток убивают. Но убивают Раскольниковы,

я на этом настаиваю. «Наши» — карикатура; убивают люди самоотверженные и, мне хочется верить, способные раскаяться, хотя бы в последнюю минуту, как благоразумный разбойник; дай Бог им дожить до этой минуты). А Ставрогин — на сытом Западе. Он устал от хорошего вкуса и смакует заведомо скверный. Или принимает ЛСД и испытывает врата восприятия¹. Или собирается в вояж: то ли в Иерусалим, поджигать мечеть Аль-Акса; то ли в Непал, припасть к ногам аватары (воплощения) Кришны...

Здесь, в России, главным героям Достоевского негде развернуться. На поверхности одна мелочь: Ракитины, Опискины²... И из нашей остановившейся страны мы смотрим, как из логи, на то, что делается в мире, как Мышкина всюду сторожит Антимышкин: с ножом, с топором, с отравленным словом (Ипполиты), с тонкой способностью переворачивать идеи наизнанку, как Ставрогин. Мышкин — один, Антимышкиных — легион.

Ставрогин бесконечно богат, но он не умеет отдавать своего богатства, и оно гниет, как застойная вода. Дело не в физической вялости (как думал Вересаев, противопоставляя Ставрогина героям Толстого), а в духовной, в атрофии сердцевины личности, при блестящем расцвете ее плоти. Есть плоть духа, и плоть воли, и плоть ума³, и все это в Ставрогине так же могуче, как его мышцы. Но нет сердцевины, нет смирения, нет готовности зачать и родить (эти высшие способности женственны), и потому ничего нет. Как нет и не может быть плода от великого дерева, но с гнилой сердцевинкой, с подточенными корнями; все оно обречено упасть при первой буре.

Ставрогин поражает; но внутренний человек, познав, отшатывается от него (Марья Тимофеевна кричит: «Гришка Отрепьев, анафема!»). А Мышкин совсем не поражает. Настасья Филипповна принимает его за дурака-лакея. Он сам поражен и этим, в конце концов, всех «пронзает». Он переполнен любовью и пытается раздать свою переполненность, от которой задыхается, и все тянутся к нему — и не умеют принять дара, а по привычке кусают и рвут на части.

Это сопоставление можно продолжать до бесконечности.

¹ «Врата восприятия» — название книги О. Хаксли, в которой он описывает свои эксперименты с мескалином, дающим измененное состояние психики.

² Глава писалась в 1972—1974 годах.

³ См. ап. Павла: «Не много среди вас мудрых по плоти...»

Ставрогину тоже были доступны какие-то касания внутреннего света. По урокам с небес он богаче Раскольникова или Ивана Карамазова. Но Мышкин принимает толчок света со смирением и готовностью на муки, как огромную задачу (не высказано, но брезжит: задачу родить в себе Бога); а Ставрогин (и Кириллов) — как разрешение поставить себя, какой есть, на место Бога. Сверхъестественная одаренность Ставрогина вместе с противоестественной избалованностью делает его спасение таким же трудным, как протянуть корабельный канат в игольное ушко. Он усаживается на воображаемом троне, как в вольтеровских креслах, и лениво пробует, каково быть всемогущим. И шаг за шагом сползает в какую-то очень национальную (при всем западничестве) смесь беспорядка, лени и дерзости. Так что даже с адской точки зрения ничего величественного не выходит, одно безобразие. Но выйти из этого безобразия уже нет сил, и в безобразии душа каменеет, мертвеет.

Женщина может влюбиться в него, как Тамара в Демона. Но любовь Тамары не способна преобразить Демона в ангела. И Ставрогина любовь не может спасти — ни Марья Тимофеевны, ни Дашина, ни Лизина. Лиза пытается заполнить его пустоту всей собой и проваливается в эту бездну. А любовь все манит и манит его, как протянутая луковка, до последней минуты, но принять эту луковку можно только сердцем, поставив себя перед кем-то на второе место — и совершенно искренне, безвозвратно, от всей души. А этого Ставрогин как раз и не может, не может стать слугой, рыцарем (хотя бы той же Лизы или, раньше, Марьи Тимофеевны; только поиграл с ней). Способность поставить себя на второе место в нем с детства была задавлена угождением слуг, баловством матери и восхищением его талантами и постепенно совсем исчезла. А это главная способность. Без способности поставить себя на второе место, без способности умалиться — все дары становятся жерновами на шее, и Ставрогин не может не утонуть. Хотя до последнего мига протянутая рука манит его и обещает спасти. До последнего мига. Ибо «дьявол — враг Бога, но Бог — не враг дьяволу... Бог больше нас, потому что Он меньше нас, и никому не противится и всех хочет спасти» (З. Миркина).

Ставрогин может выбрать Дашу или Лизу — он погубит и ту, и другую. Мышкин может выбрать Настасью Филипповну или Аглаю — та или другая непременно погубит его самого. И не потому, что они злы: их красота одухотворена

и включает в себя открытость добру; но только открытость (не отданность), рядом с открытостью гордости, обиде, жажде справедливости, и в своей запутанности они губят его вместе с собой. Аглая кажется светом после Настасьи Филипповны только по своей девической неискренности. Захваченная страстью, она становится «прекрасной дамой без жалости», жаждущей торжества над соперницей, хотя бы ценой жизни рыцаря. Победа зла в ее характере, бегло намеченная в конце романа, к сожалению, вполне вероятна. Можно не согласиться с тем, что эмансипация (хотя бы самая полная) или руководство католического патера (т. е., по Достоевскому, атеиста) есть непременно зло, да и вообще непременно в победе зла никогда нет, но вероятности... вероятности победы зла в Аглае, при всей ее прелести, слишком много.

Мышкин должен погибнуть. Он слишком открыт всякой встрече и слишком редко встречает в людях Бога. Он слишком не защищен, чтобы жить среди этих людей. Открытость его женскому очарованию — только часть общей открытости. Если бы Мышкин был вовсе закрыт или хоть полужакрыт внутренней отрешенностью, это был бы другой человек. Внутренняя отрешенность, без рясы, еще гораздо дальше от него, чем монашеский чин. Это итог очень большого пути. Это плод аскезы, а не улыбка младенца, тянущегося к свечке. Мышкин ничего не знает, кроме Бога. Ему нигде было выучиться, что свечка обжигает. Все, что светло, тянет его. Настораживает самодовольство, большое самолюбие, желание возвыситься над другими, набрав побольше денег, и т. п. Настораживает темное. Но ожидание рыцаря, написанное на лице женщины, — не выверт, не помрачение души. Оно может быть затемнено, искажено, но в основе своей оно светлое и теплое. И Мышкин открыт этому, он готов ответить.

Другой вопрос, предназначен ли Мышкин именно к такому служению. Он совсем не Орфей и не умеет укрощать пантер и превращать страсть в музыку... Он даже не понимает, что перед ним пантера, что из бархатной лапки в любую минуту могут высунуться когти. Орфей был мастер, он знал свое искусство, и даже он не сумел избежать менад. А Мышкину к ним лучше бы не подходить так близко. Как раз с женщинами он довольно беспомощен. Рядом с Аглаей ему просто хочется сидеть и смотреть на нее. В нем нет напряжения страсти, которое Орфей сдерживает и возвышает в страстное прикосновение к лире, вчера — ветви,

завтра — девичьему плечу¹. Мышкин бесконечно открыт к а ж д о й душе. Но его ответ женщине скорее ответ ангела (или ребенка), чем мужчины. Если бы Мышкин не был так скоро сломан, он, может быть, понял бы, что пока, до какого-то сдвига, до какого-то особого случая, ему можно выслушивать только исповеди, а не любовные упреки. Но заранее, до опыта, он этого никак не мог знать. Он как ребенок, открывающий мир заново; он должен был пройти и через открытие женщины...

На планете Смешного человека, с которой он прибыл (потому что он, конечно, с этой планеты, а не только из Швейцарии), мужчины и женщины не убивают друг друга, когда любят. На этой другой планете Настасья Филипповна не убежала бы из-под венца и не давила бы его своим душевным мраком. По логике планеты Смешного человека, Мышкин действовал совершенно просто и естественно. Там все такие. И только на Земле Офелия должна уйти в монастырь. А Мышкин — не приезжать в Россию.

Только здесь, на Земле, «мы все убиваем тех, кого любим» (О. Уайльд, «Баллада Реддингской тюрьмы»). Только здесь даже бескорыстие своекорыстно, как попытка Настасьи Филипповны женить князя на Аглае...

Можно представить себе (разумеется, на другой планете) мышкинское счастье. Можно представить его даже на Земле, если бы встретились двое с т о й планеты. Могло бы быть счастье, как отдых на пути в Египет, как своего рода Церковь (в Христовом, а не в Павловом смысле²: где двое из вас собрались во имя Мое, там и Я с вами). Как чудо прикосновения, в сущности то же, что между младенцем и матерью, но бывающее (воскресающее) и между женщиной и женщиной. С охраной друг друга от попыток раньше времени расщипать на перышки, с собиранием друг друга, расщипанных, как Изиды собирала Озириса (потому что совершенно охранить от судьбы нельзя, она внутри нас и только выходит, как писал Рильке, изнутри наружу). Но это, кажется, выходило за рамки мира Достоевского: мышкинское в нем самом было слишком хрупко... В самом Достоевском страсти рвали Мышкина на части.

Настасья Филипповна и Аглая обе слишком не просты,

¹ Рильке, «Сонеты к Орфею» — в моем свободном толковании.

² Здесь не выпад против Павла, а просто указание на разницу между зримой церковью, учрежденной Павлом, и незримой, утвержденной Христом. У меня не манихейская логика. Павлово истинно, но несравненно меньше, чем Христово.

слишком запутанны и склонны к срывам. Обе — прекрасные дамы, а не матери, не дочери, не сестры. Почему Мышкин не встретил женщины-матери, женщины-сестры? Ведь их не так уж мало. Добрая половина женщин в любви — матери, если не всегда и не совершенно, то очень часто. Это так иногда даже в самом юном возрасте, благодаря инстинкту материнства. Юноши почти никогда не думают о будущем ребенке, девушки — почти всегда. Инстинкт помогает родиться и душевному материнству, и сплошь и рядом женщина как-то незаметно достигает душевной зрелости, тогда как мужчина идет к душевному отцовству медленно, десятки лет, спотыкаясь и падая. В любви к женщине он часто большой мальчик, и долго остается мальчиком, до старости.

Мышкин не нашел своей женщины-матери, женщины-няньки, скорее всего потому, что просто не искал их и, даже встречая, не пережил этого как «встречу», не заметил. Он не просто беспомощный младенец, а и старец: для него все, и мужчины, и женщины, и хорошие, и плохие люди — дети. И именно по своему дару духовного отцовства (возможному и в неопытном юноше, как материнство — в пятилетней девочке), он любит надломленных, трудных, запутавшихся. Ему хочется спасти душу страдающую, погибающую без его ласки; а она топит его.

Достоевский рисует на заднем плане девушку, готовую на руках носить князя, и с величайшим блаженством. Это Вера Лебедева. Но она как-то слишком простодушна и чего-то в князе не чувствует, на что откликаются и Настасья Филипповна, и Аглая; она мысли князя, занесенные с другой планеты, не угадывает; она сама целиком с этой Земли, не с другой, и нет в ней тоски по другой планете, тоски, на которую князь немедленно, всем сердцем откликается. Она добрый, милый утенок. Но не гадкий утенок, не обреченный на страдание среди уток, и сердце князя не переворачивается от жалости и желания вызволить ее с птичьего двора. Его сердце — отцовское сердце, ищущее заботы, а не заботливых рук. Няньки со всех сторон окружают Ставрогина, потому что Ставрогин нуждается в няньках, потому что за усталым мужчиной в Ставригине проглядывает капризный, испорченный барчук... А Мышкин внешне, физически большой младенец, в чем-то буквально младенец, с незаживающим темечком, а внутренне отец...

Мышкинская любовь — из «Стихов сироте»:

Наконец-то встретила
Надобного мне:
У кого-то смертная
Надоба во мне.
То, что небу радуга,
Злаку — чернозем,
Человеку — надоба
Человека в нем.
Это шире Ладоги
И руки верней:
Человека надоба
Ран в руке моей.
И за то, что с язвою
Мне принес ладонь,
Эту руку сразу бы
За тебя в огонь!

(М. Цветаева)

На самом глубоком уровне не важно, что Настасья Филипповна — женщина, оболыщенная Тоцким и т. д. Это, конечно, женщина, и Тоцкий с Епанчиным обсуждают некоторые чисто женские нюансы ее психологии (им кажется, что ей иногда «такой-то — рогожинской — любви и надо»). И в то же время совсем не женщина, а дева-обида, восставшая в силах даждьбожья внука, оскорбленная красота, оскорбленное и переполненное своей обидой человеческое достоинство. Можно толковать ее метания между Мышкиным и Рогожиным, оставаясь в рамках сексуальной психологии: рогожинские порывы вызывают чувственный отклик и в то же время стыд (всплывает память об оскорбительных ласках Тоцкого); стыд заставляет спасти князя от своей нечистоты — а потом бросаться к князю с мольбой спасти ее от Рогожина (ставшего в больном сознании символом нечистой, опозоренной страсти). Все это до какой-то степени верно, так же как что Раскольников среда заела. Действительно ведь заела. Я уже писал, что бытовой уровень у Достоевского кошмарно реален, это не аллегория. Не будь «среды», Раскольников, наверно, не убил бы старушки. И все-таки он не потому убил старушку, что его среда заела. И Настасья Филипповна — это не только развращенная, измученная и оскорбленная женщина. Это вся человеческая боль униженных в пронзающем образе наложницы Тоцкого. Вся страшная сила отчуждения, бездомности, неприкаянности, толкающая кого-то погубить или оскандалить, чтобы только заявить себя, запечатлеть. И сила эта крушит все вокруг, как сорвавшаяся с цепей пушка (на корабле в романе Гюго «93-й год»).

Рациональное объяснение поступков Настасьи Филипповны невозможно, и вместе с тем она не безумна. Не более безумна, чем Франц Фанон¹, чем люди Штерна, убивавшие детей в деревне Дейр Ясин, и люди д-ра Хаббаша (бывшего врача), убивавшие детей в Маалоте, на севере Израиля. И она, и они переполнены своей обидой, своей обездоленностью, до совершенной неспособности думать о чем-то другом, принять в расчет еще что-то, кроме своей обиды.

«Я был обманут миром, богами и историей, — пишет палестинец Фаваз Турки. — Знание о человеческих муках и еще более разоренных мирах, с еще более калечащими переживаниями, не смиряло меня. Знание, что другие страдали больше в Нагасаки и газовых камерах, что другие будут еще больше страдать в Индии или где-нибудь еще просто от муки существования, — не давало мне успокоения. Боль других затронет их внутренний мир. Я не могу пережить за них. Она не может затронуть мою суть, как моя боль <...>. И так я ненавижу. И мир ненавижу меня, потому что я ненавижу. Это был круг порочный и безумный, в котором мы жили <...>. Дай мне ружье, человек, и я прострелю свою собственную или еще чью-нибудь башку. Оставьте меня одного, и я скроюсь где-нибудь в горах; может, там ко мне придет понимание. И по дороге я буду писать лозунги на всех стенах всех домов отсюда до Катманду и расскажу миру, что я думаю об их богах и ангелах, об их ценностях и системах логики, об их исторических концепциях и о горькой поэзии, подавленной в душе обездоленного. Ибо там всему этому место, на стенах...»²

Мышкин бросается навстречу этой «горькой поэзии», этой лавине обиды, обрушивающейся на мир. Он с бесконечным состраданием откликается на обиду, он чувствует всю ее справедливость, он пронзен ее болью, — и с ужасом угадывает ее разрушительную силу. Мышкин вглядывается в прекрасные черты Настасьи Филипповны, облагороженные страданием, и тревожно спрашивает: «Только добра ли она? Ах, если бы была добра!»

Настасья Филипповна знает силу добра. Она хочет быть

¹ Фанон — тонкий аналитик сознания цветного интеллигента, психологически белого, физически черного («Черная кожа, белые маски»). В последний период жизни — теоретик насилия как нравственной обязанности обездоленных. Этот аватар Ипполита был, как Ипполит, смертельно болен и знал о своей обреченности. Своими руками он, кажется, никого не убил, но вдохновил многих.

² Turki F. *The disinherited*. N. Y., 1972.

доброй, подавляет желание расплаты. Но желание мести живет, гложет ее; и, «отпустив» Тоцкого, она мучает «своих» — Мышкина, Рогожина. Временами зло прорывается в ней почти так же грубо, как у Ипполита. Или у Маяковского, которого Пастернак сравнил с Ипполитом:

Пусть земле под ножами попомнится,
Кого хотела опошлить!

(Маяковский)

Пти-жѐ Настасья Филипповны, ее публичные скандалы — та же желтая кофта (за которой скрывалось такое же оскорбленное сердце). И жажда разрушения и саморазрушения, накопившаяся в одинокие зимы, наверное, не меньше, чем у «Тринадцатого апостола».

Нет ничего страшнее пострадавшего человека, то есть не просто страдавшего, а сосчитавшего цену своего страдания. Цена страдания невероятна, и целого мира не хватит, чтобы рассчитаться. Пострадавшему человеку все позволено, и он это знает и позволяет. Настасья Филипповна прекрасна, «бесы» безобразны. Но ведь бесы не родились бесами. Они были когда-то ангелами. Подпольный человек в сорок лет безобразен, а когда-то, в годы своих белых ночей, он был прекрасен. Он стал безобразным. Настасья Филипповна мечется на краю наклонной плоскости, которая кончается подпольем.

Когда Аглая обличает Настасью Филипповну, она тут же становится хуже ее. Я не бросаю в несчастную камня. Но я вижу, чем все это кончилось — и в истории бедного идиота, и во всемирной истории. А там — пусть Бог простит... Ибо не ведают, что творят.

Они не ведают, что страдание не только отымает. Оно что-то дает. Залог счастья есть в каждой муке. Способность страдать, выстрадать — она же способность вынести счастье. Мы пропускаем счастье видеть дерево, видеть солнечный луч, потому что не привыкли к сильным, полновесным чувствам. Глубокое страдание может приготовить место для еще более глубокого счастья. Мудрые дикари заставляли страдать юношей и девушек, прежде чем разрешали им близость (выбивали зубы, наносили раны, и все это надо было вынести не дрогнув). Это была не только дикость, но и культура, хотя и дикая; но реформаторы сплошь и рядом уничтожали дикие обычаи, не давая ничего взамен. Ко мне способность любить пришла вместе с нача-

лом войны и сознанием нависшей смерти (до этого было половое чувство, а способности любить не было). Для беззаветной любви, без всякой заботы о своем достоинстве, понадобился еще лагерь (война не смирила гордыни; лагерь смирил). Я не был бы счастлив, если бы не мои несчастья.

Но даже абсолютное несчастье, когда землю выдернуло из-под ног, — и оно может быть не просто потерей. Оно может дать необходимость Бога. Не самого Бога во всей его полноте (это слишком большая редкость, и я не хочу говорить о том, чего не пережил), но сознание необходимости Бога, поворот к Богу, наплывы Бога изнутри и извне, смутные и все же бесспорно достоверные, наполнившие жизнь новым смыслом. Это доступно каждому. Не каждый встретит любимую женщину, но каждый может встретить Бога, если несчастье раскрывает ему двери, если оно вырывает из беличьего колеса обычного. Обычное, повседневное — самая крепкая преграда между душой и ее собственной глубиной. Недаром святые уходили в пустыню и сами себе создавали подобие ссылки, или одиночного заключения, или пыток. Если у души есть силы, несчастье становится благословением. Евгения Гинзбург вспоминает, что в тюрьме она была чище, духовнее, чем в счастливые годы. Несчастье отымает иконы, отделяющие от Бога (Рильке). Остается встреча с Ним самим — или бездна, в которой дьявол. Ты сам виноват, если уклонился от встречи. И не говори, что времени не было. Благоразумному разбойнику хватило времени на кресте...

Тот, кто понял это, может простить. Тот, кто понял это до конца, прощает легко и платит добром за зло. Мышкин подсказывает это Настасье Филипповне. А она не видит, не понимает. Она слишком переполнена своим страданием... И он оглушен ее глухотой, ослеплен ее слепотой, избит ее метаниями — ее, самой чуткой и так безнадежно оглохшей...

Мышкин встает на дороге возмущенного человека и получает пощечины. От Гани (физически), от Бурдовского (морально). Бегство из-под венца та же пощечина... Может, центральное место в романе — не впечатление от портрета (власть красоты), не сто тысяч в камине (власть денег!), а пощечина Гани. Потом, в романе «Бесы», Ставрогин тоже получает пощечину (от Шатова). Я думаю, здесь опять зеркальное подобие и внутренняя противоположность Мышкина Антимышкину. Ставрогин в какое-то мгновение захо-

тел уничтожить Шатова; но еще сильнее ему захотелось проверить свою волю, и он сдержался. А Мышкин не сдержался. В нем просто не было злобы. Он действительно ничего не испытал, кроме жалости к Гане. Ставрогин, может быть, вспомнил Евангелие и подумал: хватит ли сил выполнить заповедь блаженства? А Мышкин ничего не вспомнил, он просто живет так, как хотел Христос. Или почти так — спотыкаясь иногда по болезни и слабости.

Сильно развитая личность подобна личности совершенно неразвитой. Мышкина сравнили с овцой. Христа с Агнцем. Овца не испытывает потребности заявить себя, как Ипполит, или проверить (как Раскольников или Ставрогин). И Христос, когда Дух предложил ему прыгнуть с храма, отклонил это. А мальчикам иногда очень нужно проверить, что у них есть сила, что они способны пойти против всех. Это своеволие может разрастись, затвердеть, как у Ставрогина; может быть «нормальным» кризисом развития личности, толчком к преобразению (я об этом писал уже, думая о Раскольникове). Но совершенная личность растет без всех этих экспериментов, не стреляет из рогаток по окнам в 10 лет и не стреляется на заре в 18¹.

Некоторые подростки просто трусят. И это может оказаться хуже стрельбы по окнам. Лучше разбить несколько стекол, чем всю жизнь обсасывать свои неотомщенные обиды, как человек из подполья. Раскольников вышел из подполья: сделал то, что задумал,— и от ужаса сразу повзрослел. Но это не закон, не обязательная стадия роста, как гусеница — куколка — бабочка. Это все-таки болезнь, хотя обычная, очень распространенная, своего рода «детская болезнь левизны».

- Объяснение и отчасти оправдание Ипполитов и Раскольниковых в том, что они только воображают себя взрослыми, а на самом деле — колючие подростки. Мы этого не замечаем, потому что сами не больно выросли. Вся наша культура, за редкими счастливыми исключениями,— культура недорослей. Все современное человечество — недоросль; хотя, может быть, обреченное так и не вырасти. И духовно совершенное существо, от младенчества идущее прямо к мудрости,— редчайшая редкость. Но именно эта ред-

¹ Не могу удержаться от сравнения, которое, кажется, уже где-то приводил: учение об иллюзорности Я (анатта) создано Буддой, наложившим неизгладимый отпечаток своего Я на всю Азию. Меня приводит в трепет эта мысль. Чего стоит сила Чингисхана, Тамерлана или Наполеона сравнительно с силой смирения Будды или Христа?

кость — норма (пусть только намеченная, пусть только пунктир нормы). И если эта редкость осуществилась, то в ней самой выполняются все заповеди — без столкновения закона с благодатью, идеала Мадонны и идеала содомского, без pro и contra. Тут не припоминание Евангелия, а воскресение Христа изнутри, из духа, из сердца. Рождение вновь того же, возможно даже совсем без Евангелия и без явной мысли о Христе, хотя у Мышкина эти мысли были; но у Ставрогина мыслей было не меньше. Дух веет, где хочет, и Христос рождается, где хочет, как у того безымянного узника гитлеровского концлагеря, молитву которого (уцелевшую на клочке оберточной бумаги) напечатала «Зюддойче Цайтунг»¹ и перепечатал в своей «Школе молитвы» митрополит Антоний Сурожский:

«Да перестанет всякая месть, всякий призыв к наказанию и возмездию. Преступления переполнили чашу, человеческий разум не в силах больше вместить их. Неисчислимы сонмы мучеников...

Поэтому не возлагай их страдания на весы Твоей справедливости, Господи, не обращай их против мучителей грозным обвинением, чтобы взыскать с них страшную расплату. Воздай им иначе... Прими во внимание добро, а не зло. И пусть мы останемся в памяти наших врагов не как жертвы, не как жуткий кошмар, не как неотступно преследующие их призраки, но как помощники в их борьбе за искоренение разгула их преступных страстей. Ничего больше мы не хотим от них...»

«Состояние свободного человека — состояние предельной незащищенности», — пишет вл. Антоний. Свободный человек не думает о будущем, не заботится, что случится с ним через год, через день, через минуту; он знает, что самое высокое, самое глубокое в нем — не от него и что оно вечно. «Строй отношений, к которому эта мысль приводит нас, и есть то, что Евангелие называет Царством Божиим».

Можно ли нести это чувство в жизни лучше, чем нести его князь Мышкин? Можно ли подправить Мышкина? Возможен ли Мышкин здоровый, Мышкин не юродский? Мышкин, прошедший хорошую духовную школу?

Начать с первого: только из Швейцарии (в вагоне, у Епанчиных) Мышкин почти здоров. И это ему очень идет. Он вежлив с лакеем, не искателен с генералом и вообще

¹ Автор молитвы скорее всего не христианин, может быть, хасидский цадик, прототип «Последнего из праведных» Шварцбарга.

ведет себя не как все, но лучше всех. Лизавета Прокофьевна боится от него какой-то странности, велит повязать салфетку, как ребенку, а Мышкин не делает ничего такого, чего от него ждут: не роняет посуды, не говорит вздора, не падает посреди гостиной в припадке и решительно не искажает любимых мыслей. Напротив, он ведет себя с каким-то простодушным тактом, а любимые мысли излагает удивительно хорошо. И после всех предосторожностей, принятых по совету Гани, благоразумные хозяева оказываются в глупом положении.

Здоровый Мышкин намечен, но здоровье его очень хрупко и быстро рушится, и если взять роман в целом, то Достоевский очень настойчиво подчеркивает неловкость, беспомощность своего героя, отсутствие правильного жеста (хотя в первых сценах все жесты правильные), неумение высказать любимую мысль, не сказав ее, и т. п. Эти черты постепенно становятся все резче. Мышкин после первой части не развивается, а разрушается, теряет равновесие, теряет душевные силы и, наконец, совершенно теряет разум.

Таким, каким он приехал из Швейцарии, Мышкин только бесконечно прозрачен для других и от этого бесконечно раним. Его чувство Бога — радость, а радость — от душевного здоровья. Болезнь — образ греха. Болезнь толкает просить прощения. А Мышкин, приехавший из Швейцарии, не просит прощения. Он просто видит дерево и счастлив. Он единственный здоровый среди толпы больных.

В романе Достоевского полно юродивых, юродствующих, уродов, уродцев — но Мышкин, появляясь перед читателем, только очень хрупок. То, что происходит в романе, как бы «Сон смешного человека» наизнанку. Во «Сне» один развратил всех, а здесь все не сумели развратить одного. Не сумели, но задушили своей мутью. Муть не остается в душе, она разливается вокруг и душит незащищенных. Почти каждый персонаж романа — соучастник этого убийства. Мы привыкли к обособленности и думаем, что убиваем только тех, кого ударили, а духовно сораненных и соубитых не видим и не считаем. Те немногие, кто очистился, знают, от чего они очистились, и принимают свои меры, чтобы каждодневно снова очищаться. Старцы, например, только изредка выходят к людям. Все остальное время они вымалывают из себя захваченную и выплывающую муть и снова приходят с одним светом. А Мышкин не знает, на какую планету он попал. Ему кажется, что он вернулся на духовную родину, и он раскрывается каждому русскому чело-

веку совершенно незащитно. Так, как будто все они — ипостаси единого человека, как будто Русь на самом деле (а не только по Киреевскому) свята и соборна.

Поэтому история Мышкина — это история болезни. Беззащитный Мышкин корчится от вирусов, которыми его заразили, которые люди привыкли как-то переносить, а он не привык; с которыми люди сроднились, а он — не может сродниться. Есть буддийская сутра о праведнике Вималакирти, больном, потому что весь мир болен. Но Вималакирти принял облик больного¹, а Мышкин действительно всем своим человеческим существом болеет. И так оказывается, что апостол добра — идиот, юродивый.

Болезнь, юродство и нарастающее безумие так же необходимы в истории Мышкина, как крест в конце Евангелия. Сказано с креста о потере, больше ничего: «Господи, зачем Ты оставил меня?» Но что-то молча сказалось самим крестом. Если поверить Кальдерону, даже больше, чем всё, сказанное устами. Мне кажется, что «Поклонение Кресту»² — крайность, доходящая до разрыва с истиной. Но и убрать крест, думая о Христе, я не могу. Хотя совершенно понимаю первых христиан, для которых крест был просто виселица и которые в катакомбах рисовали рыб и ягнят. Я думаю, что в этих росписях незримо сознавался крест; только его было слишком больно созерцать, высказать, выговорить.

В болезни Мышкина, как и в распятии, есть что-то очень глубокое и неустранимое, относящееся не только к форме романа, но и к праформам самого бытия. «В страдании есть идея», есть, может быть, обнаружение Бога, страдающего вместе с миром, и не единожды на Голгофе, а каждый миг, в каждой твари.

«В немощах действует Бог», — говорит ап. Павел. И там, где действует Бог, не может не быть немощи. Так же, как блаженства (немощи твари — и блаженства в Боге).

Есть адские муки; но есть и муки чистилища, и муки, прямо неотделимые от радости. Духовные муки и страхи — такие же разные, как и физические. В Евангелии говорится о роженице, забывающей муки, когда видит ребенка. Это тот же квадрильон Ивана Карамазова, забытый в первое

¹ С бодисатвой, пришедшим навестить его, он без всяких следов болезни состязается в мудрости.

² Трагедия Кальдерона, в которой разбойник, не забывший перекреститься, попадает в рай, а ученый монах, сомневающийся в каких-то догматических положениях, — в ад.

мгновение рая. Те, кто не испытывал таких мучений, кто слишком берег себя или чья плоть была слишком крепка и не поддавалась «здоровой» боли, кто не прошел своего квадрильона, поражены бесплодием и всеми болезнями бесплодной жизни.

Духовные муки дольше физических. Экхарт говорит о великом (и редком) счастье «умереть скоропостижно», то есть сразу умереть в ветхом и родиться в новом Адаме. У большинства людей, вообще причастных процессу духовного рождения, он напоминает скорее линьку с многократным болезненным освобождением от каких-то лоскутьев истлевшей плоти.

Мы меняем души, не тела...

(Н. Гумилев)

С какими-то сдвигами, но без решающего преобразования. Подобие родовых потуг здесь повторяется неоднократно. Трудно и больно душе разверзнуться, дать себя раздвинуть Неведомому, даже, может быть, разорвать себя (иногда кажется так). И оттого, что душа разверзается, ей больно. С другой стороны, есть болезни оттого, что душа не хочет разверзнуться, что побеждает ложный инстинкт самосохранения. Плоть должна быть способной срастаться после родов. Но если она вовсе не поддается разрыву, это тоже патология,— яйцо со слишком крепкой скорлупой, через которую цыпленок не может пробиться.

Есть страх встретиться с Богом и страх не встретиться с Ним. Боязно господина и хочется спрятаться за спины других слуг, раствориться в народе, в церкви; и хочется остаться с женихом наедине. «Страшно попасться в руки Бога живого», и страшно совсем не попасть в них. Встреча откладывается и откладывается до самого смертного часа (а тогда уже может быть поздно!). Но случится раньше времени — и не выдерживает человек, плоть слаба, обморок...

Начало премудрости — страх Божий,— говорит Ветхий Завет. Но какой страх? Их много. Страшно встретиться с бесконечным духом; и страшно остаться в тьме внешней. Страшно оскорбить то, что любишь, страшно своего собственного нечистого прикосновения. Страшно приблизиться — и страшно поссориться (как в бездну упасть).

Любовь так тесно связана с болью, что без готовности терпеть боль и страх боли она совсем невозможна. Когда

мне было 20 лет, я оказался на пороге большого чувства, но подавил его (испугался боли). Долго считал это своей победой, а потом — глупостью. Другая любовь прямо началась с боли, с чувства вины, перевернувшего все мое существо. Третья — с детского чувства нежности ребенка к матери. Я думаю, так примерно бывает и в Божьей любви. Она может начаться с боли, с удара (Павел, опрокинутый на пути в Дамаск), а может — с легкого, как пух одуванчика, прикосновения к сердцу... Но потом непременно будет и то, и другое, и радость, и боль. Это естественно, как в физических последствиях любви... Но бывают осложнения естественного цикла, грозящие не болью только, а болезнью и смертью. Животных здесь выручает инстинкт, людей — помощь и совет. У Мышкина не было ни помощи, ни совета. Его душа вынашивала Бога в одиночку. Она почти непременно должна была заболеть. Даже если бы нас не было вокруг. А тут еще мы со своей мутью...

Если бы Мышкин оставался один! Один — и с Богом в рассвете и в закате, в горах и в море... Он, может быть, понял бы до конца немой язык. Он понимал его. Но Мышкин был с нами. Я догадался, что это значит, пытаюсь читать одну книгу, то привлекавшую глубокими, выстраданными мыслями, то обливающую потоками мелкой бабьей злобы. После каждой порции чтения меня лихорадило, до сердцебиения и потери сна. Как будто бы переливали в меня кровь, и оказалась кровь другой группы, несовместимая. Но ведь для Мышкина вся наша духовная атмосфера — что-то вроде этих мемуаров¹, вся эта земная мешанина идеала Мадонны с идеалом содомским, страдания и обиды. В Швейцарии он знал, что взрослые — чужие для него. Жил с детьми и выздоровел (не благодаря детям, благодаря Богу; об этом потом. Но дети не мешали Богу действовать). А в России, мечтал он, в России другая планета, — и в его широко раскрывшуюся душу хлынули Настасья Филипповна, Рогожин, Ипполит, Бурдовский...

Мышкин ищет на земле родину того, что пришло к нему с неба. Он ужасно хочет найти, мучительно хочет, хочет всей силой души больного, чувствующего, что едва держится на ногах, что ему непременно нужна помощь, что один он может погибнуть. Россия должна его поддержать. Но — Господи! — что он в ней находит!.. И в ответ на свидетельство глаз — «не верю!». «Нет, Рогожин на себя клеветает;

¹ Н. Я. Мандельштам.

у него огромное сердце, которое может и страдать и сострадать. Когда он узнает всю истину и когда убедится, какое жалкое существо эта поврежденная, полоумная, — разве не простит он ей тогда все прежнее, все мучения свои? Разве не станет ее слугой, братом, другом, провидением? Сострадание осмыслит и научит самого Рогожина. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества. О, как он непростительно и бесчестно виноват пред Рогожиным! Нет, не «русская душа потемки», а у него самого на душе потемки, если он мог вообразить такой ужас». Но ужас в самом деле был; и когда нож блеснул в руке убийцы, Мышкин кричит: «Парфен, не верю!..»

«Затем, вдруг как бы что-то разверзлось перед ним: необычайный *внутренний* свет озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть, полсекунды; но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля, который вырвался из груди его сам собой и который никакою силой он не мог бы остановить. Затем сознание его угасло мгновенно, и наступил полный мрак».

От разрыва между тем, что есть, и тем, что должно быть, князя охватывает падучая. И снова он надеется — и снова в судорогах падает вниз головой. Крестовый брат его, брат по любви к Настасье Филипповне, — соперник и убийца... Чем очевиднее занесенный нож, тем сильнее «Не верю!», то есть верю, верю в свет сквозь мрак, в Бога сквозь дьявола. И здесь Рогожин только точка, только центр огромного жизненного узла, даже более широкого, чем вся Россия. Так и у самого Достоевского: ужас, вытесненный благоговением. Эриннии становятся эвменидами, Рудра (ужасный) — Шивой. В познании Бога — вершина истины. В познании земли — ложь, самообман, вытеснение комплекса страха от лотка Газина, занесенного над головой, четырех лет каторжного страха, что убьют, памяти о крепостных мужиках, убивших отца, попытка заслониться от страха кротким лицом мужика Марея. У Достоевского было и то, и другое. У Мышкина иначе (больше совершенной любви, победившей страх), но тоже не просто.

Первое объявление Мышкина о вере в Россию возникает как-то бегло, без связи с тем, что раньше и позже, в конце разговора с Рогожиным о вере в Бога. Там, если вычеркнешь — не заметишь пропуска. И только потом начинает мелькать, насколько это важно, эта попытка намекнуть

русскому народу, что он такое (по идее). Если Мышкин, в известном смысле, интеллигент, ищущий народную почву, то Рогожин и есть эта почва. Но — увы! — именно Мышкин — светлая сторона русского духа. Народ сей богоносец чего только не несет в себе! И в то же время ясный Мышкин и запутанный Рогожин действительно неразрывны; они стоят как бы на концах одного диаметра, проникающего в самый центр национального характера. Вернее, московского поворота, московского пласта национального характера (в петербургском Рогожина заменяет Ставрогин).

Тема России постепенно раскрывается дальше, и чем далее, тем припадочнее. Что ни размышление о России, то припадок: с криком «Не верю!» на лестнице, с опрокидыванием дорогой вазы на рауте у Епанчиных... Мышкин выздоравливает в Швейцарии, мечтая о России, но без всякого прикосновения к русской почве. Как только князь прикасается к родной земле, так он (в противоположность Антею) начинает слабеть и гибнуть. Хоть не сознает, что его губит, и чем сильнее очевидность, тем взвинченнее славянофильские взлеты. С этой точки зрения анафема католичеству хорошо подготовлена: мало ли, что человек думает и говорит в истерике. И все же я возражал и возражаю против агрессивных, ставрогинских ноток в мышкинских устах. Князю свойственно ошибаться и в людях и в странах только в хорошую сторону, переоценивать хорошее, а не дурное. Его глаза приучились видеть Бога, видеть чистый беспримесный свет, и иногда ошибаются на Земле, принимают фонарь за Солнце. Но солнце (или хоть проблески солнца сквозь тучу) Мышкин не примет за болотные огоньки.

Мышкина не может не лихорадить от нашей крови, смешавшейся с его кровью. Вряд ли что-нибудь самое высокое вошло в наш мир иначе: буддизм назвал это первой благородной истиной (все существование болезненно); в христианстве это назвалось распятием. И до Христа, тысячу лет раньше, монотеизм вошел в мир через больное социальное тело, через народ, искаженный египетским и вавилонским пленом; только потом, развившись в этой ненормальной среде, как в питательном бульоне, он заражает другие, почвенные народы Средиземноморья. Что-то болезненное, лихорадящее все время остается в столкновении единого Бога и голоса крови, племени, расы. Что-то невыносимое, как крест. И народы, подчинившись как будто голосу с другой планеты, все время норовят обмануть

этот голос, выздороветь, сбросить крест, вернуться к языческому здоровью, к простоте почвы. Хотя бы через 2000 лет.

Нет, князь не мог войти в наш мир и остаться здоровым. Мне очень жаль, что это так. Я не сочувствую нынешней романтике слабости, сменившей прежнее (от Ницше до Маяковского) увлечение силой, дерзостью, волей. Романтика силы кончилась шигалевщиной; романтика слабости кончается Великим инквизитором, и я не вижу, чем этот хрен слаще редьки. Я принимаю слабость только как миг в рождении силы, как немощь души перед Богом, как боль, без которой никто еще не родился и не родится на свет. Я принимаю «идею» страдания как обратную сторону «идеи» радости, разрывающей грудь, как цену блаженства. В Мышкине сначала только эта, святая боль, муки обожения, муки, которые станут здоровыми, рождающими новую жизнь, если мы не оставим его без помощи после припадка, если не будем прямо бить по больной голове, пока не добьем насмерть... А потом — это уже не Мышкин. Это тело Мышкина, которое корчится в агонии.

Князь тянется к церкви, — и если бы дотянулся, то, может быть, она спасла бы его? Только какая церковь ему была нужна? И легко ли встретить ее? Почему-то среди друзей князя оказываются люди всех чинов (даже мошенники, карточные шулера), — только священника нет.

Мышкин тянется к «идее православия», как Достоевский однажды (в «Дневнике») обмолвился. Но в историческую русскую церковь он как-то не торопится. Трудно представить, чтобы совсем не заходил в храмы, кроме одного-единственного случая, как в загс — повенчаться. Наверно, побывал на литургии; может быть, и на исповеди. Почему Достоевский ничего не говорит об этом? Хотя бы столько, сколько рассказывают о своих героях католические писатели? Боялся унизить идею?

Многих православных читателей это смущает. Одна современная горячая поклонница Достоевского писала мне, что только Аглая, в эпилоге, нашла правильный выход, то есть отыскала духовника (хоть католического) и вручила ему свою волю. И если бы Мышкин привел Настасью Филипповну в церковь, то все было бы хорошо. Это, может быть, слишком прямолинейно; но что-то подобное могли говорить Достоевскому друзья или он сам себе говорил. Во всяком случае, во всех романах после «Идиота» идеал православия

представлен респектабельно — не проституткой Соней и не epileптиком, приехавшим из Швейцарии, а старцем или странником (Тихон Задонский, Макар Долгорукий, Зосима).

В Алеше Достоевский попытался исправить Мышкина еще в одном отношении — сделать его здоровым. До какой-то степени и это получилось; нельзя сказать, что Алеша не удался (особенно в сценах с мальчиками). Запоминаются и Зосима, и Тихон (обрисованный только двумя-тремя чертами). У них есть обаяние. Но никто не «пронзает» так, как князь. Лучше князя у Достоевского ничего не вышло.

Мышкин как-то мгновенно сцепляется со всеми остальными героями романа (и с мытарями, и с блудницами), а старцы остаются в стороне; Мышкин становится узлом в общей сети, в общем вынашивании святости — они не становятся. Даже Алеша, посланный в мир, никак не попадает душой в мирскую жизнь. Он бросается в водоворот страстей, но они выталкивают его, как мячик, и оставляют с теми, кто ему действительно близок, — с детьми. Распинают Митю, и Митя невольно становится главным выразителем мысли романа, начинает толковать об эфике и о ребенке, плачущем в тумане, о бернарах и пр. (все это косноязычно, но очень глубоко и важно); а Алеша остается среди предстоящих у креста.

Видимо, беззащитный праведник, которого распинают, — более прямая отсылка к Христу, чем церковь или монастырь. Я не настаиваю, что так в самом деле, но бесспорно так в наших профанических представлениях. И Достоевский их не способен изменить. Мышкина он видит изнутри, старцев и послушников — извне. Записки Зосимы — хорошая литература. Но какая это бледная тень сравнительно с подлинными писаниями старца Силуана (до Афона — малограмотного русского крестьянина) или с рассказами Мотовилова о встречах с Серафимом Саровским! В Мышкине все увидено, и все увидено до конца; нет ни капли твари (придуманного; я не говорю об отдельных фразах: я говорю о строе образа). И по одному этому князь в его нелепом швейцарском плаще живее напоминает Христа, чем милый добрый Алеша в своей ряске.

Но, может быть, не только поэтому. Может быть, в Христе есть что-то, не вместившееся в церковь? Может быть, дух Христа действительно невозможно отделить от его незащищенности? От его неузнанности как Христа? И нельзя замкнуть ни в какой храм то, что, по его словам, долж-

но совершаться «не на горе и не в храме, а в Духе и в Истине»...

Я не встаю против исторической церкви; по слабости человека всякая истина, чтобы сохраниться, должна замкнуться в какие-то знаки, жесты, учреждения. Даже истина о Духе, который один жив, не дошла бы до меня, если бы не стала буквой. И Дух вовсе не против буквы, он только шире ее и требует признания этой своей широты, этого выхода за рамки всего очерченного.

Я не встаю и против монашества (которое часть западных христиан отвергла). Я думаю, что монашество — просто сорок дней в пустыне, растянутое, по слабости человеческой, на сорок лет. Я понимаю потребность уйти в монастырь (или уйти в пустыню). Но не менее свята, мне кажется, и потребность выйти из пустыни, вернуться к людям со своей новой душой. Я думаю, что апостолы более уподобились Христу, чем виртуозы, сорок лет не ложившиеся спать и отдохавшие стоя или сидя. Я думаю, что монашество, как особая жизненная профессия, — скорее в духе кастового (или сословного) общества, чем в духе христианства.

Православные читатели могут пожалеть плечами... Но есть любопытные свидетельства и в святоотеческих писаниях:

«Некогда святые отцы пророчески говорили о последнем роде. Что мы сделали? — говорили они. Один из них, великий авва Исхирион, отвечал: мы исполнили заповеди Божии. Спросили его: а что сделают те, кто будет после нас? — Они, сказал авва, сделают в половину против нас.— Еще спросили его: а что те, которые после них будут? Авва Исхирион отвечал: люди века того ничего не сделают. Но к ним придет искушение. И те, которые в это время окажутся добрыми, — будут выше нас и отцов наших».

Это напечатано на с. 140 «Достопамятных сказаний о подвижничестве святых и блаженных отцов» (СПб., 1871) — то есть в книге, которая могла побывать в руках Достоевского (если не в этом, 4-м издании, то в более раннем).

Я думаю, никогда не дано знать, в последнее время мы живем или нет. Человечество, как отдельный грешник, может спастись в последний миг. Но и обратно: всякое переломное время может стать последним. И во всякое переломное время каноны рушатся, нет внешних знаков и знамений, и Бога можно найти только Святым Духом, только изнутри. Именно так находил его Иисус Христос, не ища

нарушать древний закон, но и не смущаясь, если приходилось нарушать субботу.

Когда мы говорим: Христос,— мы представляем себе не только ипостась Троицы, хвалимую в храмах, а Сына Человеческого, бесконечно одинокого, не понятого учениками, окруженного людьми, в один миг готовыми припасть к его ногам, а в другой — распять (если кто-то очень важный велел). Мы представляем себе учителя, осужденного на казнь той самой общиной, дух которой Он высказал с невиданной прежде силой и чистотой — слишком свободно, слишком новыми словами. Иисуса, которого хранители веры почти единогласно признали еретиком, кощунственно поправшим закон, лжепророком, увлекшим безграмотных рыбаков, мытаря и проститутку (об этом писал Къёркегор; я не сумею написать лучше). Потом образ Христа принял respectable, почти монофизитский характер, и хотя православие отвергло монофизитство, Христа в Деисусном чине пишут Вседержителем, без земной слабости. Но если Христос действительно в полне человек (а не только вполне Бог), то как отвлечься от его деятельности? Не только в последний час жизни, на кресте, а во все время, которое Он прожил?

Многие подвижники, следуя Христу, стяжали Святого Духа в пустыне (или в монастыре). Но можно ли уподобиться Христу, даже не попытавшись жить той открытой жизнью, которой он жил потом, после пустыни? Запомнив только пустыню и крест и забыв все остальное?

Оставляя этот вопрос нерешенным,— он мне не под силу,— хочется еще раз заметить, что для профанического сознания всякого рода одиночки и меньшинства, даже и не святые совсем, но гонимые и беззащитные, ближе к Христу, чем рукоположенные носители христианской благодати. Марина Цветаева выразила это в своей «Неопалимой купине»:

По всей земле от края и до края
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребем Христа!¹

¹ Прошу не понять это стихотворение, написанное в 1916 году, слишком буквально. Можете прочесть: с последним арабским палестинцем, изгнанным из Палестины. С точки зрения Марины, «поэты — жида» и жида интересны в той мере, в какой они странники.

Профаническое сознание, конечно, ошибается, не зная трудного пути, которым подвижники идут к «усвоению благодати». Но оно право по отношению к обыденному христианину, очень вяло ищущему дух святости, и любовь к врагам, и молитву за все народы, чтобы они спаслись, и всякую другую подлинную благодать. Со стороны виднее; не всё, положим, но кое-что виднее; в чем-то внешний взгляд сходится с самым внутренним. Вольнодумцы не придают большого значения словам, знакам, обрядам — и величайшие мистики ставят «умное» богослужение в душе святого выше церковного, произнесенного вслух... Так, может быть, в душе Мышкина и совершалось, по крайней мере в иные минуты, это умное служение, и не всякий священник понял бы его, и не всякий мог бы направить?

И, наконец, если бы Мышкин встретил своего Серафима Саровского, тот его скорее всего благословил бы пойти в монастырь. Но Достоевский ставит не старый, давно решенный, а новый вопрос: возможно ли осуществить «идею православия» (т. е. спастись и спасти других) не в монастыре, не в обители, сохранившей предания «умного безмолвия», а в столице Российской империи? Живой Мышкин спасся бы, бросившись из Петербурга, как из Вавилона, как св. Антоний из Александрии, прочь, в Оптину пустынь; но Достоевский хотел показать не св. Антония, а александрийского сапожника, достигшего больше, чем пустынный¹. Достоевский (это видно и по Алеше) хотел какого-то православного аджорнамента, православного францисканства, что ли, хотя, конечно, он не думал в таких терминах². И независимо от того, что он думал, в Мышкине он поставил еще один, еще более глубокий вопрос: можно ли высказать «идею православия», «идею христианства», благодать Духа Святого — совершенно непосредственно, от сердца, мимо всех установленных форм, мимо всей отвердевшей катафатической буквы?

Мышкин — с другой планеты. «Там не было храмов» («Сон смешного человека»), не было вероисповеданий. Там никто не мог бы сказать: что доброе приходило из Галилеи? Или судить праведника, веровавшего не совсем так, как по-

¹ Сапожник этот, по преданию, спасался смирением, думая: «Все спасутся, один я буду гореть в аду». Антоний учился у него; факт это или притча, сейчас не скажешь. Сюжет повторяется в нескольких вариантах.

² Но К. Леонтьев прав, заметив, что Достоевский порывался иногда связать христианство с гуманизмом (разумеется, только в иные минуты, не в «Бесах»).

становлено собором. На этой планете никто не грешил против Духа Святого, повеявшего откуда хочет, в непривычном, чужом, новом облике. И Мышкин ставит нам вопрос, на который нет простого словесного ответа: как войти в незримую церковь, без окон и дверей, без правил приема, объединяющую и тех, кто о ней ничего не слышал (ибо «веселый человек не может быть атеистом») ¹, и не признающую никаких постановлений, никаких справок? Как избежать общей, соборной гордыни, гордыни вероисповедания, зачеркивающей самое искреннее личное смирение? ² Войдя в зримую церковь и изнутри ее молясь за освобождение от грехов (и этого и прочих)? Или идя рядом с ней в духовной, но не определенной словами связи? Принимая то, что принимается с любовью, но не пытаюсь приказывать своему «глубокому сердцу» и избегая всех сектантских споров между профессионалами в черной, белой или желтой одежде? Видимо, оба пути возможны при достаточной глубине, при достаточном сознании трудностей, и ответ каждый раз действителен только для одного, в глубине одной души и только для нее...

Я не хочу сказать, что Достоевский думал в таких словах. Это моя собственная мысль, итог (и порог) моего собственного опыта. Но и во «Сне смешного человека», и во сне Версилова Христос приходит к людям, не знающим церкви, и Его узнают без всяких внешних примет. Может, это действительно приходило к Достоевскому только во сне, в видениях, и никогда не высказалось так грубо, как у меня; но в Мышкине есть какая-то попытка ответа на этот не высказанный словами вопрос. Мне кажется, значительная доля «пронзающего» обаяния Мышкина именно в совершенной вынесенности его за рамки всей плоти веры (которую так любил Розанов), в область одного только чистого духа.

Без канонов, без обряда, без направляющей руки старца духовному человеку, ищущему освобождения от греха, очень трудно. Но пример Христа — это не пример послушания человеку. И Павел уподобился Ему, когда сказал: несть для меня ни эллина, ни иудея. Я прошу понять известную

¹ Слова эти сказаны в другом романе, но они мышкинские.

² Один из древних отцов охотно откликнулся, если его звали клеветником, блудодеем и т. п., но решительно отказывался от звания еретика. Следовательно, еретик, то есть веровавший чуть-чуть иначе, мыслился хуже разбойника; хотя в еретических церквах были свои святые. Это болезненно похоже на деление заключенных в лагерях: воры — социально близкие, еретики — социально чуждые. Как удивительно упорна структура сознания, при совершенной перемене всех идей! От святых отцов до Педро Кальдерона и от Кальдерона до «Отца и учителя»!

фразу не в обычном профаническом смысле, как отрицание кровных связей ради духовных, и не просто так, как получилось (новая церковь взамен старой, иудейской, которую Иисус никогда не отрицал и не велел отвергнуть). Я прошу это понять, зачеркнув исторические последствия, в «чистом теперь», как это звучало в момент высказывания: несть для меня ни иудеев (принадлежащих к законной религиозной общине), ни язычников (не знающих закона). Всем по-своему трудно. Одним бороться с гордыней индивидуального ума и воли; другим — с гордыней коллективного разума. Слова Петра о гордыне обрезанных вполне можно отнести сейчас к крещеным и сказать: кому-то из верующих должно быть в церкви, кому-то — во внешнем отдалении от нее, в любви ко всем общинам, дух которых — подлинно Святой Дух. Не существует ни одного канона для всех: духовное должно приходить свободно, изнутри, а не извне; по любви, а не по закону: хотя это вовсе не значит — против закона, и любовь может заставить принять закон.

Вот так Мышкин и живет, все время дожидаясь голоса изнутри и слыша этот голос. Мышкин прикоснулся к тайне, которую хранит церковь, без зримой церкви, а потом уже узнал церковь, и идет он не церковным путем, а как бы рядом с церковью. Так тоже можно. И в этом есть свое глубокое обаяние. Хотя это очень трудно.

Мышкин во всем такой. У него нет ничего затверженного. Он вдохновенно, по благодати находит правильное слово, правильный жест. Он не знает никаких приемов и без подсказки изнутри совершенно беспомощен. Он, может быть, даже молиться не умеет в обычном смысле слова, то есть с уровня греха, с просьбой о милости. И научить этому не может. Борис, герой «Группового портрета с дамой» Г. Бёлля, научил свою Лени молиться, а Мышкин никого ничему не научил. Он сам как-то обходился в Швейцарии. Там красота протягивала руку, и он эту руку брал. Этому он пытается учить других (разве можно видеть дерево и не быть счастливым?), но они не понимают. Им надо прежде пробить груз греха, груз суеты, то есть им надо молиться молитвой мытаря, а у Мышкина совершенно нет этих интонаций...

Мы живем в суете; в лучшем случае, в суете дела. Но пусть даже в творческой суете. Всякая мысль и действие, не ведущие к Богу, — грех. Мы не умеем сохранять Бога (даже если иногда находим его). И поэтому живем в грехе, и вера наша почти всегда начинается с покаяния. Захвачен-

ность тем, что мы делаем, почти всегда доходит до рабства страсти и до предательства образа и подобия Божия. И поэтому мы не можем просто пойти за Мышкиным, как арестант в кандалах не может поплыть (хотя поплыть так просто! Так просто!).

Мышкин с другой планеты, а здесь, на Земле, действительно нужна была бы (и Настасье Филипповне, и Аглае) — моя корреспондентка по-своему права — хорошая церковь с ее испытанными приемами; историческая церковь со всеми ее недостатками (во многих случаях неважными), но бодрая и ревностная. К несчастью, бодрости и ревности русскому православию тоже не очень хватало, и оно не только к Настасье Филипповне и Рогожину не поспело и не предупредило убийства (Достоевский здесь реалист), но и во многих других, еще более важных случаях осталось вялым и как бы не дошедшим до сцены. Или, поспев, благословляло то, что уже без него решилось (несть власти, аще не от Бога)...

Это несколько не относится к делу, но не могу не вспомнить, что в 1914 году все церкви благословляли к а ж д а я с в о ю национальную армию, то есть в конечном счете дьявола, развязавшего бойню, и все, что началось после нее, весь «настоящий двадцатый век». И сейчас многие церкви и другие общины верующих продолжают делать то же самое.

Маленькой Настасье Филипповне, наложнице Тоцкого, помогла бы и маленькая церковь, и в какой-то мере случай, что не помогла. Могла бы и помочь, если бы Настасье Филипповне встретился, скажем, о. Иоанн Кронштадтский. Но какая церковь поможет Деве-обиде, восставшей на всю нашу цивилизацию? Я этой церкви не вижу. А вижу только беспомощного князя Мышкина. И если сам Бог ему не поможет, то никто нам не поможет.

Мышкин не от церкви, а прямо от Бога, от ангельской красоты мира, вошедшей в большую душу и отразившейся в ней (может быть, именно благодаря молчанию разума) Божьим ликом. Скорее всего именно молчание разума помогло заре и водопаду в горах сделать свое дело. Ум ставил бы вопросы, называл бы и сравнивал; а «идиот» почувствовал, что делать ничего не надо, только не мешать заре что-то делать с собой. И она сделала. Я думаю, что Мышкина вылечил не Шнейдер, а покорность заре, состояние немисли (яп. «муга»), из которого родились толчки просветления («сатори»). Можно это выразить и в христианских терминах: духовная нищета облегчила приход благодати, еще

«не усвоенной», не проникшей в каждую клетку тела и не утвердившейся в нем, но уже достаточно сильной, чтобы «иметь в душе свет и радость». По определению старца Силуана, такова третья ступень любви к Богу. Это как раз про Мышкина. Он остановился перед последней, четвертой ступенью, на которой «благодать в душе и теле» дает мученикам силу переносить страдания. Остановился — и ищет руки, которая помогла бы ему сделать последний шаг, неведомо куда, неведомо как, но чтобы больше не скользить, не спотыкаться, а прочно бы ть в своей «изначальной» природе, в Боге.

Мне кажется, на этом уровне термины не важны, разными языками говорится об одном и том же. Но я вспоминаю язык дзэн, потому что первый шаг — лечиться водопадом, вглядываться в брызги падающей воды до просветления — никаким другим языком лучше не выразишь. Для дзэн — это канон, это так же заповедано, как христианину любить своих врагов. Мышкин, созерцающий водопад (или видящий дерево и не способный не быть счастливым), — канонический сюжет для дзэнга (живописи, отмеченной влиянием дзэн). Свиток, изображающий идиота (дзэнского юродивого) и струю падающей воды (образ Дао), мог бы принадлежать Ма Юаню или Сэсю и хранился бы в монастыре, как икона. А Рублев писал другое.

Как-то меня спросили: что такое русский дзэн? Букет ромашек? Я несколько дней не знал, что ответить, и вдруг почувствовал: князь Мышкин. То есть то, что на Дальнем Востоке выразилось как дзэн, в России ни в чем не выступило так полно, как в Мышкине. Если бы в православии возможны были секты и если бы Мышкин нашел учеников (и то и другое невероятно), то от князя пошел бы русский дзэн. А впрочем, может быть, абсолютная незаученность душевных движений и постоянное прислушивание к Святому Духу (и только к Нему, мимо всех канонов) — это и есть христианство самого Христа, «идея» православия, о которой писал Достоевский?

Мне хочется верить, что так оно и есть. Тут, впрочем, сразу возникают бесконечные споры о словах, и надо замолчать. Но в чем я уверен, что я ясно вижу, — это то, что Мышкина из невыносимой душевной тьмы вывел его водопад. Я почти у в и д е л это на холодной ветреной заре, вспоминая недавно написанные рядом со мной стихи:

О, не бойтесь! В пустоте небес
Так спокойно дышится огню.

Я земной тоске в противовес
Горний просверк в души оброну.

И такая тихость разлита
Там, где свет дороги исследил..
Не погубит душу красота,
А подхватит, точно пара крыл.

.

Вы крылаты! Тяжесть — это ложь,
Истина — в развернутом крыле.
Лишь за Мёю до себя дойдешь,
Лишь сквозь небо подойдешь к земле.

Свет склонился к самому кресту.
Слышишь? Лется благовеста гул.
Я тебе такую красоту
Словно руку в бездну протянул..

(З. Миркина)

Когда князь Мышкин говорит, что красота мир спасет, он не рассуждает, не мечтает. Это неопровержимый личный опыт. Разумеется, совершенно неубедительный для остальных, для тех, кто не умеет так смотреть. Но он в самой глубине своей болезни принял руку, протянутую с неба, и эта рука день за днем вытягивала его и наконец вытянула. Не к тому, что называется нормой, — а мимо, мимо, прямо к порогу ослепительного чувства полного бытия...

Мышкину дана вспышка совершенного Единства с Чем-то (я не знаю, с чем, но я пишу это с большой буквы). Вспышка, похожая на те, которые столько раз описывали мистики. Один раз что-то подобное испытал Паскаль в течение двух часов¹ и назвал одним словом: огонь. Но огонь блаженный, огонь любви, от которого не откажешься, скорее — от жизни, если их нельзя совместить. Эротические метафоры приходят здесь в голову почти всем, так же как религиозные метафоры — в любви мужчины и женщины, достигшей полной (божественной) меры. Суфии почитали святыми любовные стихи язычников узритов, и еврейские книжники включили в Писание призыв Соломона: «ибо сильна, как смерть, любовь; свирепа, как ад, ревность...»

Овладеть мистическим чувством так же трудно, как Ромео — не покончить с собой от любви к Джульетте, как Меджуну не обезуметь. Даже еще трудней, потому что нет инстинкта, который приносит блаженный покой и сон. Пе-

¹ Физик Паскаль не изменил себе: он точно определил начало и конец эксперимента.

рейти от мистической «влюбленности» к мистическому «супружеству» очень не многим удалось без помощи, без примера. Те, кто сумел, становились великими учителями. Мышкин так и не нашел в церкви такого учителя, такого помощника. Его опрокидывали нечаянные, неуправляемые вспышки внутреннего света, томила невозможность поделиться светом, соединиться в свете с другими людьми. Оба припадка, описанные в романе, — от чувства внезапно нахлынувшего и неразделенного света («Парфен, не верю!..»). Без всякой иконы, без традиции, без языка (потому что для высших мгновений нужен особый язык) Мышкин чувствует себя глубоко беспомощным, и он охотно пошел бы за старцем, который знал бы то, чего Мышкин не знал и что ему было нужно. Но Достоевский сам этого не знал и не мог изобразить (даже отвлекшись от соображений невероятности встречи: Мышкин сам достаточно исключителен). Мышкин — это предел Достоевского, предел увиденного изнутри. Зосима — уже отчасти за пределом и поэтому несколько бледен, больше программа, чем исполнение. Потому только, что Достоевский не смог? Или потому, что церковь не смогла бы, т. е. почти забыла глубины «безмолвия» и только изредка, от одного святого к другому, вспоминала их?

Так Мышкин, во всей своей незавершенности и слабости, оказался самым законченным образом святости и в душе Достоевского, и в его романах, и во всей культуре XIX и XX веков. Пусть нечаянные, пусть неуправляемые, пусть гибельные, но вспышки внутреннего света выжгли суету, и душа (если ее не мучили снаружи, если ее оставляли в покое) становилась прозрачной, и в ней отражался Бог, и в Боге оказалось место для каждого. Самое главное, оказывается, не в приобретении, не в том, что можно приобрести, а в потере, в «идиотской» потере того, что Ганя и другие более умные люди считают личностью, в потере чувства пропасти между собой и другими, в потере обособленности «я». Самое главное — великая пустота (духовная нищета), в которую может войти всё. И в этом зеркале равно отражается цветущее дерево, Аглая, Ипполит, Настасья Филипповна, генерал Иволгин, поручик Келлер... В опустошенной от суеты ума, в «идиотской» душе Бог принимает детей Своих, как евангельский отец — блудного сына...

Мышкин всего только литературный герой. Но не все ли равно, во что воплотился дух? В конце концов и от живого Мышкина осталось бы только слово, и, может быть, менее убедительное, чем слово Достоевского... Ради нескольких

«идиотов» существуем, может быть, мы все... Со всем нашим умом, со всей нашей великой цивилизацией, покоряющей Луну и планеты.

У ирландского богатыря Кухулина было три недостатка: он был слишком молод, слишком храбр, слишком красив; и поэтому он обречен. Логика кельтского поэтического сознания кажется странной, неожиданной; но вот и в России говорят про детей, поразительно развитых нравственно: не жилец он на этом свете. Почему? Разве нравственное сознание непременно связано с тенью смерти? И откуда она, эта тень? От болезни? От какой-то другой внешней причины? Или, как в старину говорили: Богу нужны ангельские души? И он забирает их к себе? Или, как говорили еще раньше, — боги завидуют смертным?..

Такие объяснения давно не принимаются всерьез. Но, может быть, что-то серьезное за ними все-таки стоит? Может, есть какой-то тайный порядок, который невозможно вместить ни во что, кроме мифа? Может, в древних обычаях — приносить самого прекрасного человека в жертву богам — не только варварство и психопатология? А еще догадка, смутная и грубо осознанная, о таинственном законе бытия, по которому за общую вину платит не самый виновный, а самый чуткий?

Мышкин и есть такой самый чуткий. Самый чуткий — самый уязвимый. И невозможно не уязвить его. Слишком истончилась плоть, не в силах понести бремени, которое жизнь кладет на плечи. Бесполезно судить, что от чего: это горение духа — от болезни, обострившей чувства? Или болезнь — от горения духа, сжигающего ветхого человека? Можно ли считать чуткость, отклоняющуюся от нормы, недостатком, виной? Виновен ли первый человек, родившийся без шерсти, в том, что он замерз? Всегда ли герой виновен в своей гибели? В чем смысл выражения «трагическая вина»? Какая вина у Дездемоны? У детей Эдуарда, убитых по приказу Ричарда III? Или трагически гибнут только Отелло, Глостер, Макбет, а Дездемона, принц и Банко гибнут, так сказать, заодно, за компанию?

Разумеется, можно подвести и Христа под классическую эстетику и сказать: Он исцелял в субботу. Он нарушил закон. Точка зрения Кайафы и Анны достойна уважения: они защищали закон, без буквального, слепого выполнения которого народ не мог бы сохраниться. Это так же серьезно, чем соображения Креонта, приказавшего казнить Антигону.

Но наше сочувствие только в теории делится между Креонтом и Антигоной. На самом деле простодушный зритель, не читавший ни Гегеля, ни Маркса или позабывший их, целиком на стороне сестры, схоронившей своего брата, врага народа, и красноречие Креонта не трогает его. Он готов сказать, как Белинский — магистру, защищавшему известное решение Николая I о Чаадаеве: нет, что бы вы ни сказали, я все равно не могу с вами согласиться. Мое сердце не вынесет, если я поставлю дух времени на один уровень с духом вечности. Тут не два времени столкнулись, тут время столкнулось с вечностью; и вечность абсолютно права, а время, восставшее на нее, абсолютно неправо. Вся его правота от какого-то луча вечности; она права, эта правота, против относительной, неполной правоты другого времени. Там, где вечность блеснула во всей своей полноте, времени больше нет...

С точки зрения классической эстетики Мышкин и Рогожин примерно одинаково виноваты. Один — страсть без жалости (я упрощаю немного, но это здесь необходимо); другой — жалость без страсти. То и другое не может спасти Настасью Филипповну; то и другое ведет к гибели. Всякая односторонность ведет к гибели. На каком-то уровне оно так и есть, и раньше я так и читал роман, но сейчас читаю его иначе и чувствую иначе; и все аргументы, основанные на прежнем чувстве, или видении, или на прежней жизни моего сердца, сразу потеряли свою убедительность. Мне хочется сказать, что Мышкин ни в чем не виновен.

Но Мышкин сам признает себя виновным. Он говорит Евгению Павловичу, что виноват, во всем виноват. Как это понять? Может быть, людская вина не делится на отдельные вины, она лежит на всех (все мы друг перед другом виноваты, сказал Зосима). И нельзя жить с людьми, не разделяя их общей вины. И мышкинское чувство виновности — такое же, как в разговоре с Келлером (когда князь признается, что и у него бывают двойные мысли)? Или как у цадика, который сам стал каяться в грехах, которые увидел на лице корчмаря¹?

Это кажется юродством, но только на первый взгляд. Вглядитесь получше в самого себя, и вы увидите, что пропасти между вами и Келлером нет. Может быть, в такой грубой, в такой режущей глаз форме вы не согрешите; ну а потоньше? И даже если раньше ничего подобного вам не

¹ Buber M. Der große Maggid. Frankfurt a. M., 1922.

приходило в голову, то как вы откликнулись на чужой грех? Возмущением? Сознанием неспособности на такую мерзость? Вроде бы хорошо, но тут же рядышком начинается гордость своей чистотой. Еще шаг — и вы вместе с фарисеями. «Чистая совесть — уловка дьявола» (А. Швейцер).

Вы, конечно, никогда бы этого не сделали, — ну, например, не избили бы ребенка, как Кронеберг. Но в духе, в помышлении — к каким только низостям не примеривается наша душа! Пусть на минуточку, пока не стошнит, — но кто не испытывал искушения поступить как NN (особенно если NN не один, если их много)! Кто не предавался разврату воображения!

В помышлении мы все запятнаны грехом. Само знание его, само пребывание в совете нечестивых есть соучастие, и только грубость совести не дает этого понять. Но князь не только присутствует при событиях; он еще действует. А тот, кто действует, всегда несколько виновен. Конечно, неодинаково. Если поставить на одну чашу весов Настасью Филипповну, а на другую Тоцкого, то чаша Настасьи Филипповны высоко взлетит вверх. Он — угнетатель, она — угнетенная, и как бы ни металась, кого бы ни зашибла в своих метаниях, — главная вина в нем. Если же «взвешивать» Настасью Филипповну с Рогожиным — не знаю, кто перетянет. Она больше ведает, что творит. А если с князем — чаша Настасьи Филипповны безжизненно падает вниз.

Так и князь, если мерить его с людьми, с другими героями романа, — невиновен. А если с Богом (если вообразить себе другую чашу весов, заполненную только невесомым светом), — тогда все иначе. И князь это чувствует, в нем есть сознание абсолютного масштаба, который остальные то и дело теряют. И от этого сами не замечают, как из «униженных и оскорбленных» вдруг становятся «деспотами и мучителями».

Князь не придумывает себе вину. Он просто чувствует то, что есть. С первых страниц романа у него нет выхода: бездействовать — грех, и действовать — тоже, выходит, грех. Видеть, что Рогожин женится, а через неделю зарежет Настасью Филипповну, и оставаться в стороне, умыть руки? Или делать что-то, но что? Князь никого не сумел спасти и только себя погубил. Естественно, он чувствует себя виноватым. Вопрос, пожалуй, только в том, почему князь согрешил? В чем именно его грех?

Мне приходилось сталкиваться с мнением, что трагическая вина князя — желание личного счастья (по-видимо-

му, с Аглаей; к Настасье Филипповне это как-то не идет). Но то, что искал князь,— не «личное счастье» в обычном понимании; скорее сверх-личное счастье. Оно могло быть и с женщиной; могло быть и с деревом (еще раз: разве можно видеть дерево и не быть счастливым?). Чтобы ты стал мной, а я — тобой, и друг через друга — вечным... Разве такое чувство — личное? Только в том смысле, в котором и Бог личный. В смысле «все включающее, а не все исключаящее» (Кришнамурти).

Кажется, что Мышкин совершенно нелепо ведет себя с Настасьей Филипповной и Аглаей. Но это не он себя так ведет, а его ведут. Он потянулся к лицу Настасьи Филипповны (сцена с портретом). Лицо может вобрать в себя красоту, как озеро вбирает ручьи. Я не о чертах говорю, а о чем-то большем. В чертах, пусть неправильных, в глазах, способных произвести на Мышкина впечатление, живет душа, вобравшая в себя что-то от Божьей красоты и Божьего страдания. И это Бог, это его дух живет в ней второй, отраженной жизнью, как свет, вместе с тенью, в зеркале пруда. Такое лицо, может быть, даже лучше водопада, лучше зари, конечно в иные минуты; и в эти минуты оно может «выпрямить», как Венера Милосская — Глеба Успенского, как лики икон, в которые вглядываются в церкви (Венера ведь тоже была иконой для древних).

Икона и Настасья Филипповна — это кажется несовместимо. Но ведь может быть и искаженная икона. Мышкин поражен отпечатком страдания на ее лице. Были, наверное, и отпечатки покаяния, сознания собственной вины, сознания себя «хуже всех». Есть порывы покаяния, которые лучше десятков лет целомудрия и поста¹. Мышкин прочел их с портрета, они отпечатались на лице, вместе с порывами гордости и гнева, но отпечатались и сперва безотчетно повлекли к себе, как водопад, как дерево, а потом сильнее, потому что выступила перед глазами душа прекрасная, но больная, может быть, обреченная, если не протянуть ей руку, если не спасти блудницу. Порыв Мышкина был другой, чем у Иоанна Колова, и весь он был другой, без выработанного облика, слова, жеста, и сам он не знал, что сделает. Авва примерно знал не слова, которые он скажет, и не вы-

¹ «И был ему глас, что один час покаяния ее принят лучше покаяния многих, долго кающихся, но не показывающих такой горячности в покаянии» (из сказания об авве Иоанне Колове и блуднице в упоминавшихся уже «Достопамятных сказаниях...»).

учивал наперед своего взгляда. но примерно он знал, что делать, а Мышкин просто бросился к Настасье Филипповне — за личным счастьем? За безумием и смертью? А может быть, сказать, как авва Иоанн: «Что худого ты нашла в Иисусе?»...

Мышкин идет на вечер к Настасье Филипповне так же непроизвольно, как Митя Карамазов схватил в руку пестик, — некогда было думать зачем, надо было немедленно сделать что-то, спасти красоту (ангела Божьего) от гордыни и ада. Быть «ее слугой, ее братом, другом, Провидением». В какую-то немыслимую минуту Фердыщенко перехватывает взгляд князя и снижает (как он все снижает) до бытового уровня: князь, дескать, «возьмет» Настасью Филипповну. И князь, в ответ на наводящий вопрос, соглашается, что возьмет.

Пожалуй, ничего другого действительно нельзя было сказать — в это время, в этом месте; иначе нельзя было остановить начинающуюся катастрофу (хотя на четверть часа, но остановить). Но князь не сам это решил; не в своей душе нашел; ему все равно было как — лишь бы спасти. В Египте V века ему подсказали бы другое, и он (оставаясь совершенно тем же) позвал бы блудницу в Фиваидскую пустыню.

Такими наводящими вопросами князь сделан был и женой Аглаи. В ответ на ее слова, как он смел написать любовное письмо, Мышкин отвечает: «Я вам как сестре писал». Он тянулся к ней к а к к с в е т у (его собственные слова, очень важные). Но когда Аглая спрашивает, делает ли он ей предложение, князь соглашается и делает. Оставаясь совершенно открытым состраданию к Настасье Филипповне и готовым в с е м с о б о й ответить ей. Из этого выходит тяжелая путаница, но Мышкин сам по себе, на языке своей планеты, ни разу не солгал. Он только не знает, как перевести себя на чужой язык.

Если бы Аглая действительно была светом, она не торопилась бы Мышкина. И тогда, может быть очень не скоро, даже, может быть, через несколько лет, он действительно так полюбил бы ее, чтобы жениться. Никакого отступления от первой заповеди в этом я не вижу. Можно любить Бога и друга через друга, и в таинстве брака. Я не думаю, что монашеское отречение непременно выше. Он чувствовал себя блаженным просто оттого, что сидел рядом с Аглаей, и ничего больше не хотел. Мужская сила в нем еще не проснулась и могла бы проснуться только от любви, вырасти от

тепла любви, как раскрывается женская сила желания у целомудренных девушек (иногда очень медленно, годами). И тогда изнутри пришло бы чувство ответственности за предложение.

Но могло бы всего этого и не быть. Могло бы чувство света от взгляда, от соседства, от прикосновения так и остаться чувством света, не становясь ничем другим. Оставаться нежностью. Обыкновенно нежность между мужчиной и женщиной ведет к близости, но только обыкновенно, но не всегда. Она может быть и сама по себе рядом с браком, вместо брака, как угодно; как самостоятельная стихия, а не непременно как ступенька к общим ночам и детям. И даже для этого не нужно быть Мышкиным непременно; бывает у многих, если инстинкт или механизм общественного мнения не подталкивает их и не ставит все по местам.

Мышкинский порыв к Настасье Филипповне, а потом к Аглае — бесконечно далек от любовного быта. Потянулся к дрожащему, гаснущему свету — и чуть не задохнулся от копоти и гари. Потянулся к другому свету. Почему один свет должен ревновать к другому? На что глядеть в обществе Епанчиных и Бурдовских, если не на эти немногие лица?.. Мышкин привык держаться за руку красоты, не может без этой руки, и в Петербурге он ищет какую-то замену этим горам и водопадам — и находит ее в глазах Настасьи Филипповны и в глазах Аглаи. Почему именно в женских глазах? Да просто потому, что мужчины больше заняты делом, у них в глазах меньше Бога. Увидел бы глаза Христа и пошел бы за ними. Красота, поразившая Мышкина в Настасье Филипповне и в Аглае, — отпечаток духа, в ней есть зарок узнавания, весточка с его планеты. Обе, и Настасья Филипповна, и Аглая, действительно быстрее других узнают князя, хотя неполно и несовершенно, но узнают в нем ангельское, бесконечно высокое сравнительно с другими. Узнают потому, что в них самих есть что-то от тонкой ангельской природы...

Но обе ревнуют. В обеих оживают бесы («трихины», погубившие планету Смешного человека). Обе становятся падшими ангелами... В сцене встречи двух невест Аглая, не знавшая в себе силы зла и не привыкшая бороться с ним, становится сразу чернее своей соперницы (пришедшей в черном; Аглая — в светлом). Князю теперь не за что более держаться, силы его падают, а он дал руку, он обещал помочь, спасти... Тут впору самого себя спасти, но куда бежать? Разве назад в Швейцарию, в пустыню; люди всюду

такие, всюду не умеют гореть без ревности, без дыма, без копоти, всюду они задушат князя.

За неудачным жениховством князя — неудача всего его порыва к людям. Женщина, которую любишь, может ударить больнее, чем друг, чем ученик. Поэтому отношения князя со своими невестами драматичнее в своей обреченности, чем какие-нибудь другие, которые могли сложиться и которые складывались. Могло бы повернуться иначе без Настасьи Филипповны, без Аглаи, без всякой влюбленности. Но все равно Мышкин слишком открыт, слишком незащищен. И слишком нетерпелив сердцем.

«Нетерпение сердца» — название романа С. Цвейга, герой которого скорее нетерпелив умом, угадавшим необходимость сердечного движения; сердца ему, по-моему, как раз и не хватило. Но я не знаю других слов, точнее выразивших несовершенство князя. То, что он всем позволяет вырывать у себя деньги, внимание, время, — где-то перестает быть достоинством. Деньги можно было бы и все раздать, не только десять тысяч Бурдовскому, а все сто тридцать тысяч, оставшиеся от почти миллионного наследства. Мышкин приезжает в Петербург нищим, и те, кто способен узнать его, примут его нищим. Но он позволяет вырывать у себя самого, вырывать душу из глубины, в которой он живет. И тогда уже, бьющаяся в суете и мраке, она теряет свой свет и никому не может посветить. Настасье Филипповне нужен Мышкин, оставшийся Мышкиным, свет, светивший в Мышкине, сквозь него, через него, хотя бы потом и без него, если бы в ней самой зажглась лампадка... Она отчасти и мечется от страха погасить светильник, задуть своими порывами боли и гнева. А Мышкин этого не понимает. Он настолько не знает людей, что не сознает их способности оторвать от Бога, от света, не сознает, что Орфей, пришедший за душой Эвридики, должен уметь до поры до времени не оглядываться, не отзываться, хотя бы сама Эвридика его звала.

Авва Пимен учил, что есть один вид гнева, который не всуе: когда душу отрывают от Бога. Я думаю, в этом же смысл первой заповеди: любить Бога больше всего на свете. Без любви, превосходящей любовь к людям, и людям ничего нельзя дать, кроме кусков; нельзя дать ту цельность, тот покой, в котором свет и «спасение», в котором ответ на самый главный вопрос...

Мышкин не понимает, что «в раю дьявол искушает добром» (из записок З. Миркиной), и грешит против первой заповеди, теряет Бога в душе, — по неведению, но грешит.

Может быть, это смутно чувствует простая сердцем Лизавета Прокофьевна, когда сердится на чрезмерное внимание князя к Бурдовскому. Я не говорю, что она права. Напротив, то, что князь принимает воображаемое право как действительное, очень мудро. Все человеческие права — воображаемые, и надо принимать глубокую уверенность в праве как право (на десять тысяч рублей, на Кипр, на Палестину); иначе никогда не будет мира. И все-таки в наивной вспышке Лизаветы Прокофьевны, безнадежно неспособной понять князя и, может быть, жалеющей брошенные деньги, есть какая-то своя правда. Во всяком случае, мне так кажется, мне так хочется себе представить. Сердятся ведь не за один поступок, а за целую чашу поступков, которая переполнилась и вызвала гнев (вроде бы из-за пустяка). Иск Бурдовского и весь шум, поднятый из-за него, — ничто в сравнении с метаниями Настасьи Филипповны, почти безболезненно проходят для князя. Но история эта показывает, вернее, намекает, что и без Настасьи Филипповны князь не донес бы своего света, и без нее дал бы расщипать себя.

Это очень тонкий недостаток, очень близкий к величайшему достоинству, к открытости сердца, и здесь, может быть, проходит черта между Христом и многими «Христа ради юродивыми». Мышкин ни то и ни другое, но есть в нем какая-то неумелость, какая-то чрезмерность в добре, и в этой чрезмерности — начало вины. Совершенство требует меры и невозможно без меры.

Яснее я не могу выразиться. Тут, может быть, даже не грех в обычном смысле слова (т. е. сравнимый с нашими обычными грехами), а какой-то легкий привкус греха, вины. Нам, с нашего уровня, его не с чем сравнить. Чем ближе человек к Богу, тем больше он чувствует себя виноватым. Так говорили люди, во всем остальном очень мудрые, знавшие это. Наверное, они правы в своем чувстве вины, и Мышкин прав в своей исповеди Евгению Павловичу. Но нам лучше бы видеть в Мышкине другое: не то, в чем он грешен, а в чем он праведен, в чем подобен Богу, в чем мы виноваты перед ним, а не перед нашими мерками.

Читая, как гибнет Мышкин, можно видеть его слабость и беспомощность, но можно и другое увидеть: люди, какие они есть, не могли не распять Христа. И всякое подобие Христа тоже обречено. У него, как у Бога, нет Оно, к которому можно повернуться спиной¹, нет Другого, с которым можно су-

¹ Термины «Оно», «Я», и «Ты» — по книге М. Бубера «Я и Ты». См. сноску на с. 236.

даться. Бог не может быть агрессивным, не может наступить на одну тварь, чтобы спасти другую. Для того, кто рассказал притчу о блудном сыне, разница между добрыми и злыми — какая-то другая, чем для нас. Мы все становимся злыми, добиваясь справедливости. И злые тоже вправе требовать справедливости, как тигрица, встретившая бодисатву. Мы можем ослепнуть от страсти и не видеть этого, но Бог всеведущ — и поэтому беззащитен и только бесконечно терпеливо держит перед нами образ красоты, пока мы не увидим, не откликнемся.

Но Бог бесконечен, и его немой голос невозможно заглушить. А человек, услышавший волю Бога и исполнивший ее, конечен и смертен. Он может только свидетельствовать об истине, он не может слишком ревностно, слишком рьяно защищать ее, чтобы тут же не потерять, чтобы не возмутить душу. Только такая, только неагрессивная душа прозрачна. И поэтому в обществе недорослей (в нашем обществе) она обречена. Поэтому Антоний бежал в пустыню. А те, кто не бежал, — гибли. Но, погибая, они все же свидетельствуют об истине. Роман Достоевского — одно из таких свидетельств. Он вызвал страстное желание защитить Мышкина, и это, вероятно, лучшее, что писатель может сделать.

Мне лично особенно дорого в Мышкине то, что он стихийно знает истину, которую Достоевский иногда угадывал, а иногда терял: что невозможно и не нужно подражать Соне или мужику Марею, кроме одного — движения вглубь, во внутренний мир, к Богу. Князь может (и должен) найти свой путь, с уровня своей свободы, не прибедняясь и не стараясь повторить Соню. Так же, как Соня не может двигаться иначе, чем она это делает, оживляя верой заученные формы. Тут дело не в том, что выше и что ниже. Может быть, низшее в чем-то выше. Софроний преклонился перед малограмотным Силуаном и убедил меня, что правильно сделал. Можно и так. Но можно и иначе. И Мышкин говорит о Боге, не повторяя ни одной затверженной формулы, возрождая только общий склад того языка притч, на котором говорил Христос (тоже не повторявший Писания). Ничего от горы или от храма — все только от Духа и Истины. И Дух веет, где хочет, и вера живет по ту сторону вероисповеданий...